

# В ТЕНИ КОРОЛЕЙ

Philip Manow

# Im Schatten des Königs

Die politische Anatomie  
demokratischer  
Repräsentation

SUHRKAMP

2008

Филип Манов

# В тени королей

Политическая анатомия  
демократического  
представительства

*Перевод с английского*

Анатолия Яковлева

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

МОСКВА · 2014

УДК 329.18  
ББК 87.3(0)  
М23

Перевод выполнен по исправленному и дополненному английскому изданию: Philip Manow, *In the King's Shadow: The Political Anatomy of Democratic Representation*. Cambridge: Polity, 2010.

**Манов, Ф.**

М23 В тени королей. Политическая анатомия демократического представительства / пер. с англ. А. Яковлева — М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. — 176 с.

ISBN 978-5-93255-396-1

Книга посвящена осмыслению перехода от монархического правления к демократии. Пестуемый демократией образ «народа» (или «нации») как единственного политического деятеля — ничуть не меньший фантом, чем средневековый образ «двойного тела короля», но его принятие и закрепление с помощью многократной сценической демонстрации (регулярных «выборов») приводит к тому, что он рассматривается как самоочевидная часть практики демократического правления и служит основанием для легитимации власти. Современная форма правления с присущими ей атрибутами национального лидера и парламента как «куклы, с помощью которой изображается народ», есть посмертная жизнь абсолютной монархии, черты которой сохранились в исторической памяти общества.

Для специалистов — историков, политологов и философов, — интересующихся современными тенденциями в теории демократии и истории политической мысли.

УДК 329.18  
ББК 87.3(0)

В оформлении обложки использован фрагмент картины «Procession to Celebrate „Palio“ in Siena»

© Издательство Института Гайдара, 2014

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2008.

Все права защищены Suhrkamp Verlag Berlin.

ISBN 978-5-93255-396-1

# Оглавление

1. Есть ли у республики тело? · 7
  2. Парламент как политическое тело — планы расположения мест в палате · 15
    - 2.1. Действительно ли демократия лишена образного ряда? · 15;
    - 2.2. Базовые планы расположения мест в парламенте, и как они возникли · 19;
    - 2.3. Тень от тела короля · 39;
    - 2.4. Парламентаризация доктрины божественного права · 57
  3. Парламент как политическое тело — иммунитет, публичность, пропорциональность и прерывность · 61
    - 3.1. Похищение тела республикой · 61;
    - 3.2. «Мера святости» — парламентский иммунитет · 71;
    - 3.3. Парламентская кукла может говорить! — Вопрос о публичных дебатах · 84;
    - 3.4. «Узнаваемый портрет населения» — парламентская пропорциональность · 98;
    - 3.5. *Le parlement ne meurt jamais?* (Парламент не умирает никогда?) Парламентская прерывность · 106;
    - 3.6. Прощание с телом народа? · 123
  4. Демократические тела/деспотические тела · 130
    - 4.1. Депутаты и двойники · 130;
    - 4.2. *In corpore/in effigie* (1) · 136;
    - 4.3. *In corpore/in effigie* (2) · 139;
    - 4.4. *In corpore/in effigie* (3) · 141;
    - 4.5. Горячее и холодное представительство · 145;
    - 4.6. Насильственное/чудотворное · 147;
    - 4.7. *Dignitas/humanitas* · 151;
    - 4.8. Расколдовывание/переколдовывание · 156
- Библиография · 157

# Рисунки и таблицы

## Рисунки

1. Палата парламента во дворце Тюильри · 30
2. Парижский Манеж · 31
3. Преобразованный Зал малых забав (архитектор Пари), 1789 · 32
4. Проекты преобразования церкви Мадлен, 1791 · 33
5. Фронтиспис «Левиафана» Гоббса, 1651 · 42
6. Карл VII в *lit de justice*, 1458 · 45
7. Собрание в Аппенцелле (Швейцария), XVIII в. · 47
8. Политическое тело, или Интеллект на марше · 54
9. Коронованным плутам — пища для размышлений · 63
10. Кровь убиенного вызывает к мести · 107
11. Правительство Робеспьера · 116
12. Американский солдат уничтожает портрет Садама Хусейна · 135
13. «Зарисовки человека, подвешенного за левую ногу» Андреа дель Сарто (1486–1530) · 138
14. Труп Муссолини на Пьяцца Лорето (Милан) · 138
15. Бюсты Неккера и герцога Орлеанского · 141
16. Берлускони до и после пересадки волос · 152

## Таблицы

- 2.1. Базовые типы расположения мест в парламенте · 22
- 2.2. Место, с которого депутаты обращаются к парламенту · 23
- 2.3. Резюме 1: хронология современных планов расположения мест в парламенте · 38

# 1

## Есть ли у республики тело?

**R***EX EST POPULUS* (король есть народ) — так в годы Английской гражданской войны Томас Гоббс резюмировал свою теорию политического представительства. Концепция короля как народа, «поскольку народ проявляет себя как целое посредством единой королевской воли» (Duso 2006: 24), была направлена против парламентариев, которые в своих полемических сочинениях настаивали на том, что функция «представительства всего королевства» должна принадлежать не королю, а парламенту (Skinner 2005: 163). Английская революция завершилась конституционным компромиссом, оставившим за королем — и палатой лордов — функцию верховного представительства. Однако в ходе Французской революции идея исключительно парламентского представительства нового суверена, народа, одержала триумфальную победу над принципом (полного или частичного) монархического представительства. Теперь «конвент есть народ» (цит. по: Heurtin 2005: 768): т. е. народ проявляет (и конституирует) себя как политическое единство благодаря народной воле, которую выражает парламент (см. ниже раздел 3.2 главы 3). И хотя идее парламентского представительства суверенного народа не удалось избежать критики, она продолжает доминировать в мире наших демократических фантазмов. В 1962 г., в речи во француз-

ском Национальном собрании, Поль Рейно разъяснял: «Во всех цивилизованных странах парламент считается представителем нации. Когда избранные депутаты дискутируют и голосуют, они делают это, обладая особым качеством представителей нации. Для нас, республиканцев, Франция существует здесь и нигде более». Эти слова не остались в Собрании без ответа. Депутат Руллан возразил: «Она [Франция] не только на вашей стороне», а Гийон заявил, что «Франция существует в народе» (все цитаты по: Morin 1998: 159).

Согласно преобладающим в демократических обществах представлениям о самих себе, переход суверенитета от монарха к народу и его парламентскому выражению в основном положил конец церемониальной, зрелищной, театральной стороне правления, столь характерной для *ancien régime*, а колдовские чары монархических образов уступили место демократическим рациональности и трезвости. Современная демократия по сути своей «постметафизична» (Habermas 1992a), она является наследием не-метафорического рационального права и, следовательно, носит по преимуществу иконоборческий характер. Быть может, наиболее ясным тому свидетельством является судьба пред-современной теории двух тел короля — смертного физического тела и вечного политического тела, — теории, занимавшей центральное место в конституционном строе *ancien régime* и часто находившей выражение в пышных сценографиях королевского правления. Теория двух тел поражает нас сегодня своей странностью и нелепостью и, по мнению некоторых авторов, не имеет аналогов в демократии. Даже Фуко, непримиримый критик Просвещения, лучше других чувствовавший социально-политическую роль тела, приходил к выводу: «она [Респуб-



лика] никогда не функционировала так, как действовало тело короля при монархии. У Республики нет тела» (Foucault 1978: 28; 1980: 55; Фуко 2002: 161).

Республика состоит из индивидов, которые в демократическом голосовании становятся числами (Rosanvallon 2006; Gueniffey 1993; Crook 2002). Но есть ли у республики тело? Нередко утверждают, что именно отказ от идеи политического тела знаменует переход от режима личного правления к современной представительной демократии, а демократия начинается тогда, когда наступает «конец всех „механизмов воплощения“» (Charim 2006: 16), или сопровождает «развоплощение (disembodiment) власти» (Lefort 1988: 17), или «устанавливается как общество без тела» (ibid.: 18; Лефор 1999: 26).

В последующих главах мы попытаемся показать, что политическое тело, хотя его часто и объявляют умершим, продолжает жить в демократии, или, по крайней мере, ведет в ней свое посмертное существование. Во многих отношениях идея народного суверенитета является интеллектуальной копией идеи монархического суверенитета (ср. Kielmansegg 1977) и потому не может избавиться от ее влияния. Бертран де Жувенель удачно сформулировал эту мысль, когда писал, что король вовсе не исчез в результате Французской революции (ср.: Schmitt 1969: 195, п. 119; Schmitt 1971). Согласно конституционной доктрине *ancien régime*, задача правителя — *representatio in toto* (представительство целого): он «символизирует единство общества и воплощает способность государства к действию» (Schmitt 1969: 189–190). Функция парламента, с другой стороны, заключается в представительстве интересов сословий (*representatio singulariter*, представительство отдельного) перед лицом короля. В результате революции король исчез как институт, но не как

функция, поскольку функцию *representatio in toto* взял на себя парламент. «Король не исчез: его преемником стал законодатель как представитель национального интереса. Но что действительно исчезло, так это представительство индивидуальных общественных интересов» (Schmitt 1969: 195, n. 119). И это отразилось на возможных символических формах парламентского представительства *in toto*, которое, как мы увидим, имитирует многие формы королевского представительства. Так что в последующих главах речь пойдет главным образом о следах монархии, оставленных в демократических практиках, и, следовательно, о преддемократических понятиях, сохраняющихся в теории демократии. Это особенно хорошо видно на примере идеи политического тела и ее семантической трансформации в демократической политике.

Обычно народный суверенитет понимают негативно, как критическое противоположение абсолютистскому суверенитету (ср.: Raynaud 2001: 869). Но это означает, что данное понятие сохраняет тесную связь с тем, критикой чего оно выступает, в том числе на уровне публичного церемониала и форм, в которых понятие народа репрезентируется в качестве нового суверена в демократии. В этих формах часто находит выражение идея правления через политическое тело народа. Строго говоря, образ народа как единого политического деятеля — ничуть не меньший фантазм, чем образ двойного тела короля, но его многократная сценическая демонстрация приводит к тому, что он начинает рассматриваться не как продукт ритуальной церемонии, но как естественная, самоочевидная часть практики демократического правления, подобно тому, как в рамках *ancien régime* королевское *lit de justice* (заседание парламента с участием короля) рассматрива-

лось не просто как церемония, но как неотъемлемая часть монархической системы правления.

«Идея некоего общественного тела, которое якобы создается совокупностью волей», и в этом мы можем согласиться с Фуко, является «самым большим фантазмом» демократии (Foucault 1980: 55; Фуко 2002: 161). Однако, как будет показано ниже, фантазм единого демократического тела можно найти главным образом в демонстрации единства, достоинства и священного характера политического представительства, которое, в свою очередь, заимствовано из образов политического суверенитета *ancien régime*. Ниже мы приведем несколько примеров в подкрепление тезиса о том, что политическое тело продолжает жить в демократии. Основное внимание будет обращено на физическую репрезентацию, или образный ряд демократического правления, и на то, что из этого следует для теорий демократического представительства. Наши вопросы могут показаться второстепенными. Например, почему после Французской революции доминирующим планом расположения депутатских мест в парламенте стал полукруг? Почему Англии понадобилось гораздо больше времени, чем Франции, на то, чтобы парламентские дебаты стали публичными? Как на самом деле появился и упрочился принцип парламентского иммунитета? Чем объясняется идея, что парламент и *demos* должны находиться в отношении пропорционального соответствия? Почему мы думаем, что парламент должен как можно точнее отражать разнообразие, существующее в обществе? Как мы отмечаем начало и конец парламентского срока, когда парламенту предоставляются полномочия представлять народ и когда эти полномочия отзываются? Почему в конце одного парламентского срока законода-

тельный процесс прерывается, а в начале следующего срока начинается заново?

Какими бы второстепенными ни показались эти вопросы, их выбор не случаен. На примере некоторых практик, плохо согласующихся с новым порядком, особенно хорошо видно, что демократия вышла из формы правления, которая ей предшествовала. Человеческие существа проявляют редкую изобретательность, когда приводят *a posteriori* новые доводы в пользу старой практики и придают новый смысл тому, что стало бессмысленным. На периферии парламентской демократии законные практики были преобразованы лишь частично, и именно поэтому они легко поддаются нашей «герменевтике подозрения».

В последующих главах мы рассмотрим не только новое двойное тело (т. е. народ и его парламентский образ), но и тела некоторых современных политиков в сопровождении их медийной драматургии. В поле нашего внимания окажутся также свойства, присущие представителю парламентскому телу, такие, например, как его притязание на высокое достоинство и неприкосновенность. Политическая харизма все еще сопровождается образами политического дара благодати, «избранности», подтверждаемой задним числом в демократическом ритуале выборов.

Итак, центральный тезис этой книги состоит в том, что современная демократия не *постметафизична*, а, так сказать, *неометафизична*. Всякая политическая власть — и демократия в том числе — нуждается в политической мифологии и продуцирует ее: «Полностью расколдованный мир является полностью деполитизированным миром» (Geertz 1985: 30). Любая форма политического правления оперирует в контексте символического ряда, ко-

торый ее легитимирует («Не бывает власти без показухи», Lefort and Gauchet 1971: 98)<sup>1</sup> и освящает. Во все времена «господство и спасение (*Herrschaft and Heil*)» (Assmann 2002) тесно связаны друг с другом. «Сила власти зиждется не только на реальных средствах, которые находятся в ее распоряжении, но и в меньшей степени на постоянном насаждении привычных образов и фикций; ей необходимы рациональное признание и магия влияния; она должна оперировать [...] зримыми инструментами и править из непостижимого высшего мира» (Жак Неккер, цит. по: Gablentz 1965: 193).

Один из предрассудков нашего «просвещенного» века состоит в том, что это якобы относится к иным временам и странам. Однако расколдовывание старого порядка, сопровождавшее демократическую революцию, приводит к новому колдовству, которое производит новый демократический порядок. Карл Шмитт полагал, что каждая эпоха имеет политический строй, соответствующий ее мифологии (Schmitt 1985a; Шмитт 2000б). Материал, который приводится нами ниже, свидетельствует в пользу противоположного и, на мой взгляд, более правдоподобного тезиса, а именно, что каждая эпоха имеет мифологию, соответствующую ее политическому строю. Если в этом контексте применимо понятие политической теологии, то она означает не секуляризацию в политике исходно религиозных понятий, как считал Шмитт, но скорее — как

---

1. Для Лефора и Гоше (Lefort and Gauchet 1971: 98) символические или «демонстративные» элементы власти включают особый способ употребления языка, трепетное отношение к престижу и апелляцию к легендарному прошлому. Ср. также: «Господство [...] не существует как отдельная политическая сущность, вне ее самопровозглашения» (Rolf 2006: 46).

полагают Ян Ассман (Assmann 2002) или Якоб Таубес (Taubes 1983), — придание религиозного смысла изначально секулярно-политическим понятиям.

Данная книга представляет собой перевод, исправленный и дополненный, моей книги «*Im Schatten des Königs*», вышедшей в 2008 г. в издательстве «*Suhrkamp*». Немецкое издание было основано на результатах двух продолжительных исследований, опубликованных в 2004 и 2006 гг. журналом «*Leviathan*»<sup>2</sup>, одно из которых посвящено плану расположения парламентских мест, а другое — парламенту как политическому телу. Мне бы хотелось выразить благодарность редакции журнала за разрешение воспроизвести эти тексты в моей книге.

Помощью в подготовке книги к печати, моральной поддержкой и критикой я обязан многим людям. Среди них: Анника Шульте, Доминик Хайнц, Ингеборг Стромейер, Бодо фон Грейф и Ханне Херкоммер, Вольфганг Стреек, Альбрехт Кошорке (замечательное исследование которого о «фиктивном государстве» — Koschorke et al. 2007, к сожалению, я смог лишь частично учесть в книге), Хорст Бредекамп, Ульрих Глассман, Андре Кайзер, Юрген Каубе, Марион Мюллер, Томас Циттель, Патрик Камиллер и Сара Ламберт. Разумеется, сколь бы весомой ни была их помощь, я один несу ответственность за все ошибки, которые остались неисправленными.

---

2. Philip Manow, «Der demokratische Leviathan — eine kurze Geschichte parlamentarischer Sitzanordnungen seit der Französischen Revolution», *Leviathan* 32 (2) (2004): 319–347; Philip Manow, «Die politische Anatomie demokratischer Repräsentation», *Leviathan* 34 (2) (2006): 149–181.

## 2

# Парламент как политическое тело — планы расположения мест в палате

### 2.1

#### Действительно ли демократия лишена образного ряда?

**Е**СЛИ судить по количеству работ, опубликованных в последнее время, парламентская архитектура привлекает к себе все больший интерес<sup>1</sup>. Однако, что поразительно, в них в лучшем случае мельком затрагивается, а то и вовсе не рассматривается один из важнейших элементов архитектурной формы, а именно план расположения парламентских мест. Насколько мне известно, в научной литературе этот вопрос специально затрагивался в работах двух авторов — Гудселла (Goodsell 1988) и Дёринга (Döring 1995a)<sup>2</sup>. Оба придерживаются мнения, что схемы парламентских мест не могут быть объяснены чисто функциональными причинами — тем, например, что они позволяют лучше

---

1. См., например: Stamp 2000; Cullen 1983, 1989, 1995; Cullen and Kieling 1992; Reiche 1988; Wefing 1995, 1999; Flagge 1992; Hipp and Seidl 1996; Kündiger 2000; Denk and Matzerath 2000; Dörner 2001; Biefang 2002; Port 1976.

2. Обсуждение смежных вопросов см., например: Interparliamentary Union 1976; Mopin 1998; Chwe 2001; Sennett 1998; и Mergel 2002.

слышать или видеть выступающих, — но являются также, и даже главным образом, выражением политической культуры, формированию которой сами отчасти способствуют. К примеру, тот факт, что «скамьи», занимаемые правительством и оппозицией в британской палате общин, расположены напротив друг друга, рассматривается как выражение концепции «сопоставительных» демократических политических дебатов (ср.: *Interparliamentary Union* 1976: 258), в то время как в системах, более склонных к консенсусу, более подходящим выражением пропорционального представительства всех политических сил считается полукруг (ср.: *Döring* 1995a). В какой-то мере здесь применяется аргумент, противоположный тезису «форма следует за культурой», а именно, что сама архитектурная форма оказывает влияние на парламентскую и политическую культуру. Сколь бы убедительными или неубедительными ни были аргументы Гудселла, Дёринга и других авторов, совершенно непонятно, почему центральный локус политического правления в современных западных обществах — «важнейший институт в системе демократического разделения властей» (Weume 1992: 33) — столь мало изучался с точки зрения его символично-репрезентативной формы. Конечно, вместе с растущим объемом всей литературы по парламентской архитектуре в целом появились исследования, посвященные парламентской символической архитектуре (Palzelt 2001) и иконологии (Reiche 1988), парламентским ритуалам и церемониям (Müller 2003; Mergel 2002). Однако форма самого зала для заседаний и особенно расположение мест до сих пор изучались крайне поверхностно.

Это наблюдение в общем и целом относится также к подходам, отталкивающимся от истории искусства или иконологии. В них рассматривается во-



прос, претерпела ли изменения в процессе перехода от монархического абсолютизма к демократическому обществу широкая программа легитимации и репрезентации политической власти, реализуемая при помощи картин, садов, замков или салютов, а также других публичных спектаклей, таких как театральные представления и церемонии (Burke 1993). Что перешло в сегодняшний день из пышных представлений прошлого? Какие графические образы прошлого связаны с «помпой и политикой» (Paulmann 2000) в современных демократиях? Что появляется на месте короля и его двора, когда они, в прямом смысле слова, перестают служить воплощением политической власти (Kantorowicz 1957 [1998]; Канторович 2014)? Или на их месте ничего не появляется?

В ответ обычно говорят, что демократия просто-напросто лишена образного ряда. После разрыва с «традиционными способами репрезентации единства и объединения в обществе», присущими позднему абсолютизму, современные демократические системы столкнулись с трудной дилеммой — «невозможностью и в то же время необходимостью символической репрезентации» (Klinger 2002: 224); перед ними встала неразрешимая проблема «визуализации народной власти» (Falkenhausen 1993: 1019). В демократии «место власти оказывается не обозначенным» (Lefort 1988: 17; Лефор 2000: 26); оказывается, что это «пустое место» (ср.: de Maza 2003). Проблемы с метафорической репрезентацией считаются «характерной чертой демократии» (Koschorke et al. 2007: 251); демократическое правление сосредоточено вокруг пустого центра, «имажинативного вакуума», «пространства без образов» (ibid.). Поэтому, делают вывод в первую очередь скептики, демократиям «трудно стать видимыми»

(Arndt 1992: 58). Считается также, что, по сути дела, неспособность договориться о единой программе образов есть выражение плюрализма современных демократических обществ (Веуме 1996: 31). В результате их «образ самих себя» оказывается по необходимости «скромным» (Веуме 1992: 45). Неприятие «мощных, эстетически ярких образов» — странный «недостаток» и сбивающая с толку «слабость» демократии (Grasskamp 1992: 7, 9). Но почему тогда, учитывая все эти резко негативные суждения, никогда не проводился сколько-нибудь тщательный анализ образов центрального локуса современного политического правления — демократически избираемой палаты депутатов?

Более внимательный анализ планов расположения мест в парламенте покажет, что суждение об отсутствии образного ряда в современном демократическом правлении является необоснованным. Наш главный аргумент состоит в том, что именно в такого рода схемах проявляется «посмертная жизнь» политической теории и теологии, главное место в которых занимает (священное) политическое тело. Если этот тезис верен, то из него следуют важные выводы, позволяющие лучше понять функциональные предпосылки современных демократий, а также их культурные корни, которые будут кратко рассмотрены нами в конце главы.

Данная глава имеет следующую структуру. Начинается она с того, что, как следует из перечня парламентских планов расположения мест в развитых демократиях, имеются две базовые формы (и две главные вариации). Первая хорошо известна по британской палате общин: скамьи правительства и скамьи оппозиции расположены напротив друг друга, а трибуна спикера — в центре торцевой стены. Этот план содержит черты, напоминающие пред-

ставительство средневековых сословий, которые доминировали в классических европейских парламентах в период до Французской революции (ср.: Muers 1975), хотя в случае с Британией столь прямая родословная и отсутствует. Второй «современной» формой является французский полукруг, который в конце концов был принят в большинстве западных демократий после 1789 года.

Третий раздел посвящен рассмотрению различных гипотез, выдвигавшихся вплоть до сегодняшнего дня для объяснения того, почему та или иная нация избрала ту или иную форму. В четвертом разделе рассматривается долгое время игнорировавшаяся преюмственность образов и символики в полусферической форме, которая подсказывает новое объяснение существующих вариаций. Наконец, завершает главу краткий обзор основных выводов моей аргументации для теории демократии.

## 2.2

### Базовые планы расположения мест в парламенте, и как они возникли

Чтобы сделать понятным эмпирический феномен, о котором идет речь, приведем перечень существующих планов и посмотрим, чем они отличаются друг от друга. Для этого нам также потребуется как можно более точная реконструкция развития этих форм во времени.

Начнем с соображения общего характера. До 1789 г. доминировала модель парламента в форме прямоугольника, в одном торце которого восседал монарх (как «точка притяжения внимания», Goodsell 1988: 293), а первое и второе сословия (духовенство, знать) занимали скамьи вдоль стен слева

и справа от него. В некоторых случаях представители третьего сословия (по большей части городские сановники, иногда крупные землевладельцы) сидели напротив монарха<sup>3</sup>. После Французской революции доминирующей схемой стал полукруг<sup>4</sup>. Это говорит о том, что перед нами — систематический временной сдвиг, требующий столь же систематического объяснения. Схемы расположения мест появились не случайно, они сопровождали фундаментальный разрыв с прежней традицией политической легитимации. И разрыв этот произошел во время Французской революции.

Британская и французская схемы расположения мест в парламенте встречаются в других странах в слегка модифицированном виде. Наиболее важной вариацией «вестминстерской модели» является «соединение» двух рядов скамей в форму U-образной подковы, обращенной к трибуне спикера. Мы встречаем ее, например, в Австралии, Новой Зеландии, Индии и Ирландии, хотя в каждом слу-

---

3. Одним из примеров долгосрочных последствий этого плана расположения мест был голландский парламент, который не был организован согласно лево-правой схеме до тех пор, пока его не перестроили в 1970-х гг. Вместо этого католическая и кальвинистская партии располагались справа от спикера — там, где в старину сидело духовенство (Interparliamentary Union 1976: 259).

4. В отличие от Дёринга, я ограничусь в своих наблюдениях планом расположения мест, отвлекаясь от того, имел ли зал форму прямоугольника, полукруга или полного круга. Вряд ли следует придавать слишком большое символическое значение плану здания на нулевой отметке (Wefing 1995: 136, п. 202), и, по-видимому, бессмысленно учитывать это в обсуждении схем расположения парламентских мест. Такого мнения придерживается и Межпарламентский союз (Interparliamentary Union 1976: 257): «Планы расположения мест важнее формы зала».

чае полукруг разрезан проходом, выдающим британские корни. Аналогичные изменения предлагались при реконструкции Вестминстерского дворца после опустошительного пожара 1834 г. и бомбежек Второй мировой войны (Port 1976: 20–52), однако эти предложения так и не были реализованы. Тот факт, что форма подковы была принята главным образом в странах Содружества или в бывших британских колониях, пусть даже прямо и не следовавших британскому образцу, доказывает, что это не независимый тип и не простое «продолжение» французской полусферы (ср.: Döring 1995a: 283, Table 1), но скорее попытка сблизиться с уже занявшей доминирующие позиции полусферической формой<sup>5</sup>.

Незначительным отходом от французского оригинала является смешанная полукруговая форма, встречающаяся в немецком, австрийском или итальянском парламентах, где ряды правительственных скамей (как и некоторые скамьи других представителей исполнительной власти или спикера) обращены к собранию. Такие правительственные скамьи могут располагаться справа и слева от пюпитра, или простираться подобно радуге (как в Германии, Австрии и Японии), или же находиться прямо перед пюпитром или кафедрой спикера (как в Италии). В исходной французской полусфере таких отдель-

---

5. Еще одним важным примером в пользу этого аргумента является венгерский парламент, архитектор которого Имре Штейндль, строго следуя вестминстерской модели, все же предпочел вытянутый U-образный план. Одним из курьезных результатов стало то, что правительственные скамьи, находящиеся в первом ряду «подковы», растянуты по всему полукругу и расположены как перед проправительственными, так и перед оппозиционными «задними скамьями».

ТАБЛИЦА 2.1. Базовые типы  
расположения мест в парламенте

Базовая форма	(Классический) пример	Страны
I «архаическая» форма: прямоугольная; скамьи правительства и оппози- ции расположены вдоль стен друг напротив друга	палата общин	Британия, Канада, Син- гапур
Ia вариация: подкова	Палата парламента, Австралия	Австралия, Индия, Ир- ландия, Новая Зеландия
II «современная» форма: полукруг	Бурбонский дворец	Франция, Бельгия, Дания, Норве- гия, США
IIa вариация: полукруговая, скамьи правительства об- ращены к парламенту; иногда треть или две трети круга	немецкий бундестаг; Палаццо Монтечиторио	Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Япония

ных скамей не существует: члены правительства сидят в первом ряду депутатов Национального собрания, как и в бельгийском и британском парламентах. Британские парламентарии, включая министров правительства, выступают со своих мест, в то время как в полукруговых палатах они обычно подходят к центральному пюпитру, поставленному на основании той или иной высоты (известными исключениями служат американский Сенат и Палаццо Монтечиторио в Риме, члены которых выступают со своих индивидуальных пюпитров). Во Франции депутаты сидят на своих местах, когда обсуждают законо-

ПЛАНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ В ПАЛАТЕ

ТАБЛИЦА 2.2. Место, с которого депутаты  
обращаются к парламенту

Депутатское место	Пюпитр/кафедра спикера	Депутатское место либо кафедра
Содружество:	Австрия	Франция
Британия	Бельгия	Швеция
Австралия	Дания	
Канада	Финляндия	
Индия	Германия	
Малави	Япония	
Малайзия	Нидерланды	
Новая Зеландия	Норвегия	
Сьерра-Леоне	Испания	
Шри-Ланка	Швейцария	
Замбия	США (палата представителей)	
Бышие британские колонии:	Бышие французские и бельгийские колонии:	
Кувейт	Берег Слоновой Кости	
США (Сенат)	Сенегал	
Ирландия	Заир	
Италия		

Источник: Interparliamentary Union (IPU) 1976: 369–376, table 29

проекты, в то время как докладчик и министры выступают в поддержку предложений правительства, подходя к пюпитру (см. таблицу 2.2). В принципе, депутаты во Франции могут сами выбирать, где они желают выступить<sup>6</sup>. Не всегда строго соблюдается

6. Статья 54, параграф 4 Регламента французского парламента, опубликованного в ноябре 2006 г., гласит в официальном английском переводе: «Депутаты должны говорить с кафедры или со своих мест; председатель может пригласить депутатов пройти к кафедре». На самом деле «речи, которые считаются важными, обычно произносятся с трибуны» (Rioux 1986: 490–491). В Германии во времена Вей-

и принцип полукруга. Иногда форма может напоминать, скорее, треть круга или, как в новом немецком бундестаге, две трети круга.

Полный круг часто рассматривается как третья независимая форма, однако на самом деле в случае национальных парламентов является редчайшим исключением<sup>7</sup>. Такая форма существовала, да и то лишь с известным приближением, в Финляндии (круглая палата с расположением мест по трем четвертям круга), в Германии в течение непродолжительного периода 1992–1999 гг. (т. е. после открытия спроектированного Бенишем зала пленарных заседаний в Бонне и до переезда Бундестага в Берлин) и в (старом) зале Европейского парламента в Страсбурге.

Таким образом, если отвлечься от формы круга, страны можно сгруппировать по двум главным формам, каждая из которых имеет по одной вариации (см. таблицу 2.1). Чем это объясняется?

марской республики депутаты тоже имели возможность выступать с мест, что, по-видимому, перешло по наследству от позднего конституционализма, трактовавшего парламент и правительство как оппонентов (Mergel 2002: 146), — концепции, подкрепленной размещением правительственных скамей позади кафедры.

7. Картина будет выглядеть иначе, если включить в рассмотрение региональные собрания, особенно заседавшие в новых зданиях. О немецких собраниях см. обзор: Cullen 1989: 1853–1867; подробное и тонкое исследование региональных парламентов Саксонии содержится в кн.: Denk and Matzerath 2000. Насколько мне известно, существующие ныне собрания в Северной Рейн-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-Пфальце, Берлине и Саксонии используют круговое расположение мест (ср. Goodsell 1988). В международных организациях, требующих, чтобы все члены пользовались равными правами, часто применяется круговая форма.



Одно из чисто технических объяснений гласит, что полукруг, заимствованный из греческого или римского театра, обеспечивает наилучший обзор и наилучшую акустику. Генри Латроб, архитектор американского Капитолия, оправдывал выбор полусферы тем, что, по опыту как древнего, так и современного мира, она лучше всего позволяет «говорить, видеть и слышать» (Norton 1984: 343). Однако чисто «функционалистская», или техническая, интерпретация не может считаться удовлетворительной, поскольку явно не исчерпывает всех доводов, высказываемых в пользу того или иного плана расположения мест. В конечном счете в Британии и некоторых других странах решено было не ориентироваться на то, что кажется «наилучшим» с технической точки зрения. Некоторые страны (например, Сингапур и Канада) приняли британскую модель спустя много лет после того, как стала доминировать якобы более совершенная форма полукруга. А две реконструкции Вестминстерского дворца, одна полная, другая частичная, предоставляли все возможности для того, чтобы отказаться от старой, «нефункциональной» формы. Поэтому из числа правдоподобных объяснений следует исключить также простое «движение по накатанной дороге», или инерцию (ср.: Sampson 1950: 83). Кроме того, необходимо объяснить, почему «наиболее функциональная» форма была первоначально принята именно во времена Французской революции, а не в какой-то другой исторический период.

Непросто примирить функционалистскую гипотезу и с исторической реальностью, поскольку многие полукруговые парламентские формы первоначально знаменовали собой серьезное отступление от функционально определенных целей. Как в Бурбонском дворце, так и в Палаццо Монтечиторियो

(где с 1871 г. заседала итальянская нижняя палата) акустика была такой плохой, что вскоре залы заседаний пришлось перестроить. В качестве аргумента в пользу реконструкции *Salle des Séances* (Зала заседаний Бурбонского дворца) один французский депутат заявил: «Дело в том, что при строительстве зала были проигнорированы все законы акустики»<sup>8</sup>. Поэтому тем, кто реконструировал палату общин после 1834 г., не было никакого смысла искать «наилучшую схему» по другую сторону Ла-Манша. Что касается итальянской Палаты депутатов, то вскоре после завершения строительства в 1871 г. о ней было сказано следующее: «Новый зал почти полностью негоден из-за очень плохой акустики»<sup>9</sup>. Вскоре его тоже пришлось кардинально перестраивать. Эти примеры негодных проектов говорят о том, что в области парламентской архитектуры требования функциональности постоянно конфликтовали с логикой символической демонстрации и что последняя часто одерживала верх над первыми. Суждение о том, что парламентам не нужна особая архитектурная форма, которая была бы «их достойна» (Cullen 1989: 1888), является всего лишь субъективной оценкой, говорящей о том, что *должно быть*, а не о том, что *есть*. Ибо, даже с точки зрения Каллена, «ни в одном виде архитектуры [...] разрыв между полезностью и соображениями достойного вида не был таким глубоким, как в пар-

---

8. «Transfiguration d'un palais» (преобразование дворца): <[www.assemblee-nationale.fr](http://www.assemblee-nationale.fr)>. Подобно этому еще в 1791 г. Катрмер-де-Кенси писал о Манеже: «Очень глухо, приходится кричать. [...] Изничтожает мысли, пользующиеся слабым голосом в качестве органа для своего выражения» (цит. по: Jacquès/Mouilleseaux 1988: 46).

9. См.: <<http://www.camera.it>>. См. также: Pacelli 1983: 29.

ламентской архитектуре» (Cullen 1989: 1886; Beume 1992: 35, 42). Разрыв этот вызывался автономным стремлением к символической демонстрации, движущая сила и идеологическая подоплека которой проявляли себя не в последнюю очередь в выборе правильного плана расположения мест.

Функционалистское объяснение сомнительно еще в одном отношении. Похоже, что в XIX в. акустика вообще не вела к однозначным рекомендациям относительно плана расположения мест. По заявлению одного британского парламентария, члена комиссии по реконструкции палаты общин, «нет ни одного суждения науки... которое было бы мало-мальски практически достоверным» (Port 1976: 13). Подобно этому, как следует из возражения другого члена парламента, выступавшего против французской схемы, функционалистские аргументы не имели никаких шансов на признание в отрыве от не-функционалистских соображений. Выступая против полукруга, этот парламентарий настаивал, что «полукруг является наилучшей формой в том случае, когда, как в Париже, выступающие обращаются к членам парламента с трибуны, а в случае, когда члены парламента выступают со своих мест, как в Вестминстере, он не достигает успеха» (Port 1976: 13). Впрочем, решение выступать с места или выходить к кафедре диктовалось не только соображениями пользы, но и важными факторами символической демонстрации.

Главный вопрос здесь заключается не в том, существует ли в полукруговой палате возможность выступать с места, — когда-то это происходило довольно регулярно, а сегодня случается лишь в немногих парламентах (Cullen 1989: 1888), — но в том, должен или нет оратор стоять лицом к парламенту и находиться в центре. Как показывает таблица 2.2,

комбинация из полукругового зала с выступлениями с мест является крайне редкой (Сенат США, Италия, отчасти Франция), в то время как во всех странах Содружества (плюс в Ирландии) и в бывшем британском протекторате Кувейте нормальной процедурой является выступление депутата с места<sup>10</sup>. Британское влияние здесь несомненно. Гармоническое соответствие между Вестминстером и, например, парламентами Австралии, Ирландии или Новой Зеландии подкрепляет мою гипотезу о том, что расположение мест в виде подковы должно интерпретироваться не как вытянутый полукруг (ср.: Döring 1995a; Interparliamentary Union 1976), а как модификация британской модели. С учетом всего сказанного выше, тот факт, что произнесение депутатом речи и занимаемое им место могут в принципе свободно комбинироваться, но при этом фактически упрочились лишь две модели (британская форма плюс выступление с места и французская форма плюс выступление с кафедры), вновь указывает на значение символики и смысла, которые перешивают соображения функциональности.

Отвергая чисто функционалистские объяснения, мы должны помнить, что существуют и другие объяснения, отказывающиеся схемам расположения мест в их символическом значении. Не раз отмечалось, что оба наши архетипа — палата общин и Национальное собрание — первоначально занимали здания, которые строились для других целей. Британский парламент собирался в бывшей часовне Святого Стефана в Вестминстерском дворце, а сессии французского Национального конвента в 1793 г. проводились в преобразованном париж-

---

10. На самом деле в британской палате общин разрешается выступать и с боковых галерей (May 1957: 445).

ском театре, имевшем форму амфитеатра (Goodsell 1988: 296). В случае Британии, как известно, места для певчих превратились в скамьи для членов парламента, кресло спикера было поставлено в бывшем алтаре, а хоровой пюпитр стал тем, что называют сегодня «парламентским столом» (Wefing 1995: 139–140)<sup>11</sup>. Подобно этому, как пишет Гудселл в отношении французской модели, «форма амфитеатра [преобразованного театра] прекрасно подошла к лево-правой системе и стала с тех пор базовой моделью в не-вестминстерских парламентах» (Goodsell 1988: 296). Согласно этой линии аргументации, выделяемые нами два базовых плана были результатом случайных «мелких исторических событий», не имевших глубокого символического смысла; они были обязаны собой исходной архитектурной форме зданий, спроектированных для других целей, — форме, которая затем бездумно копировалась.

Однако и это объяснение не выдерживает критики. Особенно проблематична неточная ссылка Гудселла на «преобразованный парижский театр». Национальный конвент 1792–1795 гг. и сменившая его главная палата Законодательного собрания действительно собирались в бывшем придворном театре во дворце Тюильри, спроектированном Луи Лево, до тех пор пока местом для заседаний в 1798 г. не стал Бурбонский дворец (Traeger 1986: 46–56). Верно также, что, после того как Национальное со-

---

11. По этой причине выведение британского плана расположения мест непосредственно из традиций сословного представительства кажется неубедительным. Более того, британская история являет собой пример разделения традиционного сословного парламента, с одной стороны, на совместную палату для депутатов от мелкой знати и городов, а с другой — на палату для лордов, духовных и светских.



РИС. 1. Палата парламента  
во дворце Тюильри  
источник: Bibliothèque Nationale,  
Cabinet des Estampes, Paris

брание какое-то время заседало в версальском Зале малых забав, затем во дворце Архиепископа и в Манеже, в 1793 г. дворец Тюильри впервые предоставил полуовальную форму с поднимающимися вверх рядами мест, которая в итоге в Бурбонском дворце и Версале стала стилеобразующим *hémicycle* (полукругом, амфитеатром), решающим образом повлиявшим на континентальную парламентскую архитектуру (см. рис. 1; Boyer 1952; Goodsell 1988: 296; Leith 1991: 85; Morin 1998: 28–30).

Но это не имело никакого отношения к архитектурным особенностям дворца Тюильри. В соответствии с новыми парламентскими функциями двор-

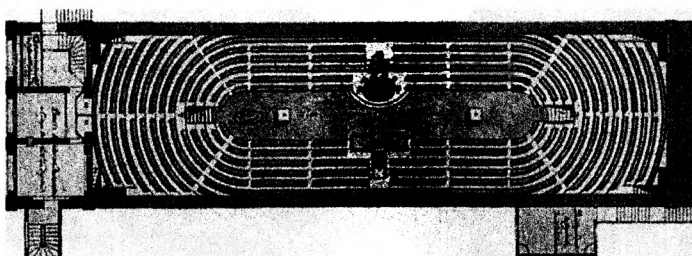


РИС. 2. Парижский Манеж  
источник: Suhrkamp Verlag picture archive

ца «вытянутое прямоугольное пространство было повернуто на девяносто градусов» (Traeger 1986: 46), и поэтому сохранить прежний план расположения мест было уже невозможно. Главный архитектор Жак-Пьер Жизор явно вдохновлялся амфитеатром в Школе хирургии, когда предлагал добавить ряды (Jacques and Mouilleseaux 1988: 47). Гудселл забывает также о четырех более ранних проектах, предусматривавших будущий круговой или полукруговой план расположения мест совершенно независимо от особенностей площадки или здания (Leith 1991: 79–113; Brette 1902; Boyer 1933, 1935). План расположения мест в Манеже, спроектированный архитектором Пьером-Адриеном Пари, вводил форму амфитеатра (Leith 1991: 85; см. рис. 2).

Кроме того, вновь в соответствии с планами Пари, форма вытянутого круга предлагалась уже в проекте преобразования Зала малых забав для заседаний Генеральных штатов после 27 июня 1789 г. (Leith 1991: 85; Brette 1902; см. илл. 3).

Проекты преобразования дворца Архиепископа, в котором Национальное учредительное собрание заседало в течение нескольких месяцев в 1789 г., также предусматривали переход в 1790 г. к полукру-

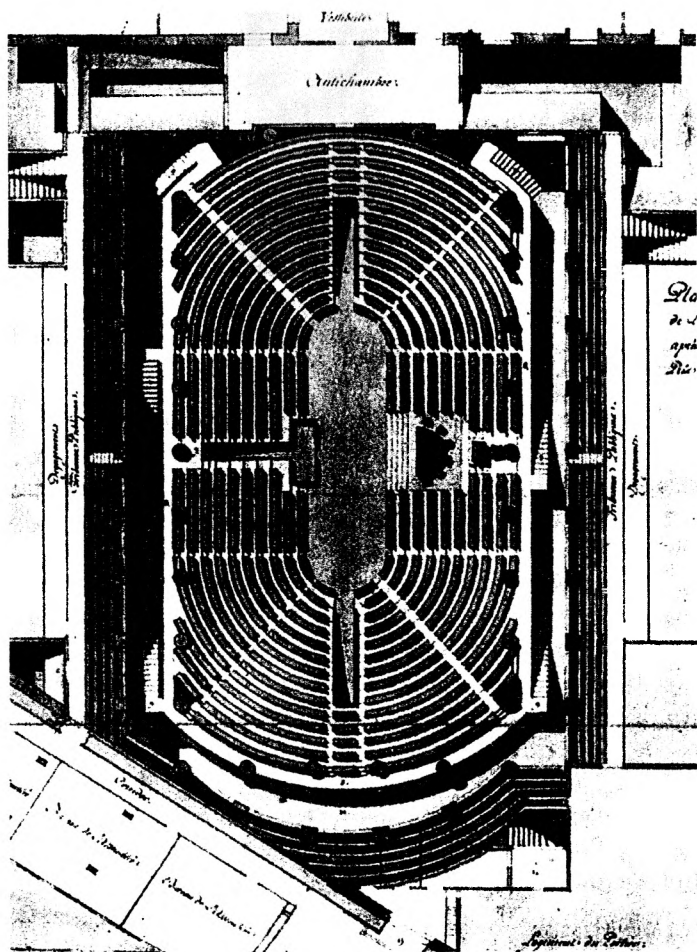


РИС. 3. Преобразованный Зал малых забав  
(архитектор Пари), 1789  
источник: Suhrkamp Verlag picture archive



ПЛАНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ В ПАЛАТЕ

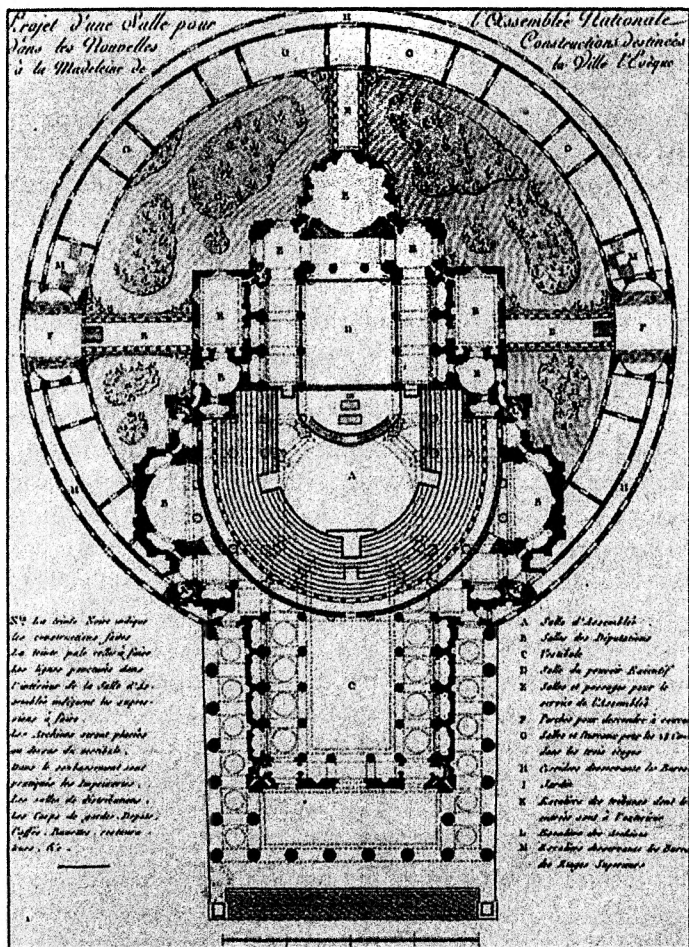


РИС. 4. Проекты преобразования церкви Мадлен, 1791  
источник: Suhrkamp Verlag picture archive

гу (Brette 1902: 129), как и проекты изменений церкви Мадлен — в 1791 г. и позднее (см. рис. 4).

Точно так же, задолго до перестройки дворца Тюильри, Руссо, Керсен, Лекё и другие архитекторы предлагали полукруговые планы расположения мест для Национального собрания (см. обо всех этих проектах: Leith 1991). Жак-Луи Давид выбрал «совершенно неправдоподобную» с исторической точки зрения полукруговую форму для заказанной конвентом «Клятвы в Зале для игры в мяч» (Kemp 1973: 254). Следует также принять во внимание, что в те времена «чисто полукруговой план ни в коем случае не был нормой при строительстве театров» (Kemp 1973: 173) и был признан лишь постепенно, когда, в «преддверии революции и отвечая на изменения в социальной структуре», началось движение за «демократический театр» (!) (Kemp 1973: 171; ср.: Friedland 2002). Таким образом, выбор плана не был случайным, но «прямо предлагал себя» — по причинам, которые будут рассмотрены в следующих разделах. Как можно заключить из различных проектов, предлагавшихся архитекторами того времени, а также из литературы, посвященной революционным праздникам, форма амфитеатра в ходе Французской революции получила признание не случайно.

Согласно еще одной ошибочной концепции, лишь полукруговой план расположения мест был способен выразить лево-правую семантику, доминировавшую со времен Французской революции (см. Goodsell 1988: 296). Верно, однако, обратное<sup>12</sup>. Гуд-

---

12. Laponce 1981: 47–54; Morin 1998: 48–52. Это относится и к итальянскому случаю: «Квадратная в плане постройка Базиле приняла в палате полукруговую форму, чтобы сохранить амфитеатр. Не было и речи о палате другой формы, например прямоугольной, как в палате об-

селл не видит главной функции полукруга, который должен был преодолеть атмосферу разобщенности, создаваемую британской формой<sup>13</sup>. Ранний период Французской революции отличался навязчивым стремлением к *unité* и полным неприятием *partie* и *fraction* (Gauchet 1995). Призывы к «мистическому единению» доходили до того, что бюллетени после голосования сжигались; все следы разногласий должны были исчезнуть после установления

---

щин. Причина носила политический характер. Места, расположенные вдоль двух сторон зала, означали бы четкий политический выбор (сидеть слева или справа), а это противоречило сложной политической алхимии страны, в которой различия [...] нередко сводятся к тонким оттенкам цвета» (Pacelli 1983: 34). Можно было бы привести множество других цитат. Например, в ходе французских дебатов в 1792 г. звучали такие доводы: «В квадратном или прямоугольном зале очень сложно произнести, если можно так выразиться, единый строй ума и соответствующий ему способ произнесения речей и соблюдения тишины» (Heurtin 1999: 88–89). Не так легко отказаться от идеи, что гомогенность — и, следовательно, «в случае необходимости, исключение или уничтожение гетерогенного» (в брутальной формулировке Карла Шмитта во втором издании «Духовно-историческое состояние современного парламентаризма»; Schmitt 1985: 9; Шмитт 2009: 11) — есть неотъемлемая часть демократии. В наши дни люди используют более безобидные формулировки, когда говорят о необходимой для демократии Мы-идентичности.

13. Примечательно, что 15 октября 1789 г., в тот самый день, когда Национальное собрание решило последовать за королем и переехать из Версаля в Париж, оно приняло резолюцию, в которой прямо взывало к такому единству. Резолюция гласила, что «депутатам более не следует выделяться покровом одежды, [и] что отныне в зале не должно быть зарезервированных мест» (Brette 1902: 114–116). Об огромном политическом значении правил, диктовавших, как следует одеваться, а также вольностей в одежде во времена Французской революции см.: Hunt 1998.

большинством голосов Общей Воли (Garrigues 2007: 46). В реальной истории лево-правое деление вскоре отошло на задний план, и произошло это не само по себе, а было сделано намеренно, о чем свидетельствует тот факт, что после 1800 г. депутаты не имели закрепленных за ними мест, но получали их по жребию (Morin 1998: 49). Лево-правая политическая схема вновь громко заявила о себе лишь в период Реставрации (Bobbio 1996: 6, 105).

Точка зрения Гудселла вызывает и другие возражения: например, остается неясным, почему те или иные конкретные формы стали преобладающими в тех или иных странах. Вполне вероятно, что схема расположения парламентских мест в метрополии распространялась прежде всего в сфере своего влияния, и особенно в бывших колониях. Но это охватывает лишь небольшую часть вариации. Почему такие страны, как Австрия или Германия, ориентировались на «современную» французскую форму? Почему Соединенные Штаты предпочитают современный полукруг, в то время как Канада и другие страны Содружества либо полностью скопировали британскую форму, либо приняли ее вариант в виде подковы? И даже если, вопреки свидетельствам об обратном, выбор между предсовременным британским и современным французским планами был сделан случайно, логика самого процесса диффузии требует своего объяснения.

Итак, если ни технические преимущества, ни чистый случай не дают удовлетворительного объяснения, нашим следующим шагом должен стать анализ гипотезы, согласно которой схемы расположения мест выражают политическую культуру той или иной страны. Один из излюбленных аргументов в пользу такой гипотезы — указание на прямое соответствие между планом расположения мест

и партийной системой (см.: Interparliamentary Union 1976). Однако в ответ можно просто указать на то, что не все страны с британской парламентской формой имеют двухпартийную систему (например, Канада) и не все страны с двухпартийной системой выбрали британский вариант (например, США). То же относится к полукруговой форме. По утверждению Гудселла, семь и шестнадцать радиальных секций французского и итальянского парламента соответствуют фрагментированным партийным системам этих стран (Goodsell 1988: 299), однако существуют другие страны с радиально-секционной и полукруговой палатой (например, Германия и Австрия), которые не имеют сколько-нибудь фрагментированной партийной системы.

Наконец, по мнению Дёринга, вестминстерская форма выражает политическую культуру состязательной демократии, в то время как полукруговая форма соответствует системе, ориентированной в большей степени на достижение согласия. Однако рассмотрение развития этих форм во времени делает его тезис сомнительным, поскольку полукруг явно не был обязан своим происхождением странам, искавшим компромисса в ситуации глубоких общественных противоречий (см. табл. 2.3, Резюме 1; Вуег 1952).

Полукруговая форма была впервые введена во Франции и Соединенных Штатах (и позднее в Италии), но ни одна из этих стран не имела ярко выраженной традиции демократического консенсуса. Австрия, Бельгия и Германия всего лишь копировали формы, установленные ранее в других странах. Поэтому ни во Франции, ни в какой-либо другой стране не было никакого особого «символическо-архитектурного способа примирения» глубоких религиозных, культурно-языковых или политических противоречий. А классическая страна консенсуса Голлан-

ТАБЛИЦА 2.3. Резюме 1: хронология  
современных планов расположения мест  
в парламенте

---

1789	Париж: преобразование зала Манежа (Пари); круговой амфитеатр
1793	Париж: преобразование дворца Тюильри / Национального дворца (Жизор) / овалный полукруг
1798	Париж: Зал пятисот, Бурбонский дворец (Жизор и де Леконт) / полукруговой
1824	Вашингтон: Капитолий (Латроб) / полукруговой
1832	Париж: Зал заседаний, реконструкция амфитеатра Бурбонского дворца (де Жоли)
1834	Вестминстерский пожар
1868	Лондон: восстановление палаты общин в исходной «архаичной» форме (Бэрри)
1871	Рим: Палаццо ди Монтечиторио (Комотто) / полукруговой
1883	Вена: Палата представителей (фон Хансен) / полукруговой
1883	Брюссель: Дворец нации (Бейерт) / полукруговой
1894	Берлин: Рейхстаг (Валлот) / полукруговой
1902	Будапешт: парламент (Штейндль) / подковообразный Стокгольм: Риксдаг (Юханнсон) / плоский полукруговой
1908	Копенгаген: Фолькетинг (Йёргенсен) / плоский полукруговой

---

для даже сохраняла «сословноцентричный» план расположения мест вплоть до перестройки здания парламента в 1960-х гг. (Döging 1995a: 286–287).

Проблемы, которые мы обнаружили в традиционных объяснениях, вынуждают искать другие причины для существующей вариации. С моей точки зрения, для этого необходимо рассмотреть более ранние традиции политической легитимации — пре-

жде всего, идею государства как организма и метафору политического сообщества как «политического тела». Предметом анализа в следующем разделе станет то, в какой мере они «продолжают жить» в современной представительной демократии.

## 2.3

### Тень от тела короля

Классический труд Эрнста Канторовича о средневековой политической теологии (Kantorowicz 1957 [1998]; Канторович 2014) привлек внимание к тому факту, что английский парламент унаследовал образ «политического тела», который был первоначально связан с телом короля. Доктрина двух тел короля, широко распространенная в Западной Европе на всем протяжении Средних веков, получила особое развитие в Англии, поскольку должна была интегрировать роль парламента и его право на участие в правлении. Нараставшее абстрагирование идеи политического тела и притязание парламента на роль ее носителя достигли своей кульминации 30 января 1649 г., когда палата общин казнила «природное тело» короля во имя его «политического тела».

Без этих уточняющих, хотя иногда и запутывающих разграничений между вечностью Короля и тленностью короля, между его нематериальным и бессмертным политическим телом и его же материальным и смертным природным телом, парламенту было бы почти невозможно прибегнуть к сходной фикции и собирать именем и властью Карла I как политического тела Короля армию, которой предстояло сражаться против того же Карла I, но как природного тела короля (Kantorowicz 1957 [1998]: 21; Канторович 2014: 89).

Канторович продемонстрировал этот переход легитимности от короля к парламенту, в частности, на примере графических изображений «короля-в-парламенте» после 1642 г., на которых король вначале появлялся вместе с палатой общин и палатой лордов как третий элемент в системе правления, а в конце концов превратился в изображение, причем даже на самих изображениях (Kantorowicz 1957 [1998]: 513–515). Именно образ короля ставил теперь королевскую печать одобрения на те или иные решения парламента, даже позволяя ему, в сомнительных случаях, утверждать волю политического короля, выступая против воли короля природного. Парламент считал необходимым «сражаться против короля, чтобы защищать короля» или представлять «короля в парламенте», и это не было простым парадоксом.

В результате этих событий, разворачивавшихся вокруг английской конституции, казнь Карла I в 1649 г. вовсе не казалась таким серьезным и решительным разрывом непрерывности (*discontinuity*), каким была казнь французского короля сто с лишним лет спустя, в 1793 г. Ибо во французском абсолютизме не было никакого другого элемента, кроме апофеоза королевского тела, который обеспечивал бы непрерывность политического правления: природное и политическое тела короля были одним и тем же телом (Kantorowicz 1957 [1998]: 23; Канторович 2014: 91; ср. Burke 1993: 9–10). Поскольку в отношении короля утверждалось, что *tout l'État est en lui* (все государство в нем), или что *Le roi a pris la place de l'État* (король занимает место государства) (Burke 1993: 10), насильственное изменение способа политической легитимации означало здесь несопоставимо более глубокий разрыв. Напротив, английского короля можно было (в формулировке, страдающей некоторым преувеличением) казнить, «не затронув серьезным образом и не нане-



ся непоправимого ущерба политическому телу короля» (Kantorovicz 1957 [1998]: 23; Канторович 2014: 92).

Для всех, кто не согласился с конституционным дискурсом, который узаконивал акцию парламента, казнь Карла I была, естественно, глубоким потрясением и источником конституционного кризиса. Томас Гоббс, например, считал дискуссию о том, был ли парламент также и «королем-в-парламенте», чисто академической («университетским курьезом», Hobbes 1990 [1682]: 124), а казнь Карла I привела его к мысли о новом, неповрежденном политическом теле: «искусственном человеке» и «смертном Боге» — *Левиафане* (см. рис. 5).

«Чудовище», придуманное Гоббсом для умирения другого чудовища, Бегемота, т. е. гражданской войны, было непосредственной реакцией на кризис 1649 г. (см.: Landes 2004; Holmes 1990: 9). Левиафан недвумысленно отсылает нас к традиционному дискурсу, попытке анализа политики как политического тела: чудовище мыслится не как животное, но в образе человека.

Образный ряд Гоббса стал недавно предметом подробного анализа, проведенного Хорстом Бредекампом (Bredekamp 1999, 2001, 2003), однако выявленные им многочисленные новые ссылки все же не отдают должное очевидной связи между телом Левиафана и парламентским представительство политического правления, — связи, открывающей возможность для такой интерпретации Гоббсова составного тела, какой, по крайней мере насколько мне известно, не содержится ни в одной из работ по этой теме (Brandt 1987; Münkler 1994; Malcolm 2002; Bertozzi 1983)<sup>14</sup>. И меч, и епископский

---

14. Необходимо подчеркнуть, что Рейнхардт Брандт также ин-



РИС. 5. Фронтиспис  
«Левиафана» Гоббса, 1651  
источник: British Library, London

жезл, и другие символы на фронтисписе «Левиафана» до сих пор интерпретировались как образы, имевшие в виду объединение «державы церковной» и «державы светской». Меч и жезл повторяются как в пейзаже, на котором видны военная крепость (справа от Левиафана) и церковь (слева от него), так и в символах нижней трети фронтисписа, где напротив друг друга изображены замок и церковь, корона и митра, пушки и вспышки молнии, сопровождающие отлучение и т. д. Но в верхней части виден также, перед торсом Левиафана, город, простирающийся между крепостью и церковью, что позволяет прочесть образ с точки зрения структуры средневекового общества с его клиром, военнообязанной знатью и городскими жителями. Трехчастное деление повторяется в плане расположения мест в сословном парламенте, где король как глава политического тела восседает у дальней стены, по левую и правую стороны располагаются духовенство и знать, а на другом конце зала напротив короля сидит третье сословие. В этом смысле Гоббсова Левиафана можно интерпретировать как воплощение парламента<sup>15</sup>, и это обращает наше внимание

---

терпретирует тело Левиафана как собрание, но не политическое, а религиозное (Brandt 1987: 167, п. 8; 181, п. 30).

15. На фронтисписе книги Гоббса меч (знать) и жезл (духовенство) изображены справа и слева, т. е. не так, как это имело место в предсовременных парламентах. Мюнклер (Münkler 1994: 53) интерпретирует это как сознательное иконографическое решение Гоббса (или его иллюстратора Абрагама Боссе), которое должно было передать идею о верховенстве мирской власти над властью духовной. Ср. точку зрения Таубеса: «Можно всего лишь поменять местами меч и епископский жезл, которые держит в руках *magnus homo*, так чтобы жезл находился от него справа, а меч слева, и получится классический символ средневековой теократической доктрины *societas Christiana*, христианского

также на то, что ссылки на доктрину «политического тела» встречаются на многочисленных изображениях сессий трехсословных парламентов, где с помощью приближающей перспективы передается не что иное, как метафора тела-конечностей-главы (рис. 6; см. также: Friedland 2002: 29–51).

Сословный парламент был в непосредственно-изобразительном смысле центральным политическим телом, с королем как «главой» (или «номинальным главой») державы, восседающим у дальней стены, и остальными «составными частями» или «членами» справа, слева и напротив<sup>16</sup>. Это ставит

---

общества как единого тела со Христом во главе, которому подчинены две власти — духовная и мирская» (Taubes 1983: 13). В тексте «Левиафана» корпоральные метафоры расплывчаты и бессистемны. Дополнительное свидетельство, говорящее об аллюзии на средневековые сословия, можно обнаружить в эскизе фронтисписа, который Боссе сделал для рукописного варианта «Левиафана» (Bredenkamp 1999: 19, fig. 4). На этом эскизе «правую руку [...] наполняют воины, в то время как в верхней части левой руки и у основания шеи можно различить троих судей в сопровождении епископа, помещенного в середину предплечья» (Bredenkamp 1999: 110, 20). С другой стороны, торс этого Левиафана наполнен фигурами, которые не имеют ясных знаков отличия, но, возможно, принадлежат знати или духовенству. В этом прочтении послание фронтисписа «Левиафана» гласит, что свобода и процветание городов обеспечены, когда мирская и духовная власти заключают договор о мире. Впрочем, программа образов в этом варианте фронтисписа «Левиафана» менее четко прописана и единообразна, отчасти потому что епископский жезл заменен весами справедливости, а церковь и крепость занимают места друг друга (Bredenkamp 1999: 18–20).

16. Таким образом, Гоббсов фронтиспис, вполне возможно, ссылается непосредственно на монархическое понимание парламента. В 1542 г. Генрих VIII провозгласил: «Мы никогда так не возвышаемся в нашем королевском достоинстве, как во время заседания парламента, когда мы как

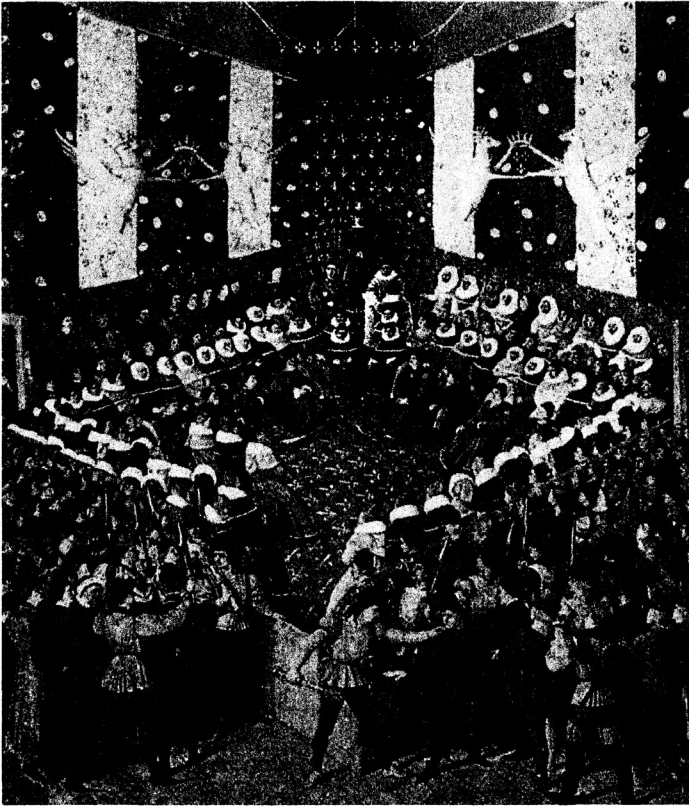


РИС. 6. Карл VII в *lit de justice*, 1458  
ИСТОЧНИК: Bayerische Staatsbibliothek,  
Munich, aus München BSB, Cod. Gall, 6, fol. 2v

---

глава и вы как члены объединены и связаны вместе в одно политическое тело». См. также описание Фридландом великого шествия французских Генеральных штатов как «живой картины *corpus mysticum*» (Friedland 2002: 41), а также плана расположения мест в Генеральных штатах: «иконографически расположение депутатов и короля напоминало тело человека» (ibid.: 43).

вопрос о том, в какой мере современный демократический постсословный парламент может пониматься как выражение такого корпорального образа.

Изменения в образе парламента во время перехода к демократическому правлению хорошо видны на рисунке, изображающем демократическое собрание в швейцарском Аппенцелле XVIII в. (рис. 7). Здесь мы все еще находим аллюзии на более раннее представительство сословий, характерное для Гоббсова составного тела (ср.: Bredekamp 2003: 133).

Но короля как главу политики заменяет теперь возвышение с находящимися на нем тремя фигурами, под которыми имеются в виду председатель или выступающие. Вместо социальной структуры, символизируемой планом расположения мест в парламенте, мы видим однородное тело народа, сужающееся в центре. Первое и второе сословия с их церковными и военными знаками отличия не поглощены полностью массивным телом третьего сословия, составляющего теперь все общество в целом. Однако справа мы видим не епископов, но обычных монахов, военная функция перешла от знати к милиции; ее солдаты изображены слева, как на фронтисписе «Левиафана», но теперь они — часть сообщества и стоят в самой его середине. В остальном это недифференцированная толпа, устремленная к спикеру.

В позднейших изображениях сословных парламентов третье сословие оттесняет первое и второе сословия или даже буквально прижимает их к стенам, одновременно включая в общество свободных и равных граждан. Изображение Аппенцельского собрания точно передает девиз аббата Сийеса: «Что такое третье сословие? — Всё». В этом графическом смысле правомерно также рассматривать концепцию Гоббса как переход от сословно-центрирован-

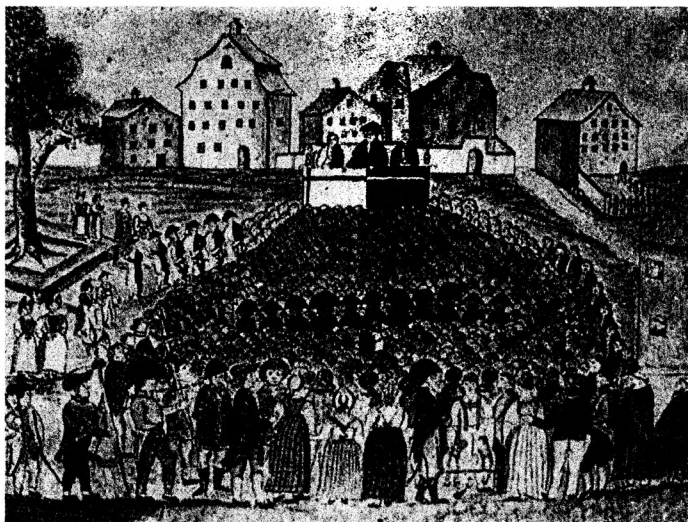


РИС. 7. Собрание в Аппенцелле  
(Швейцария), XVIII в.  
источник: Bibliothèque nationale de France  
Landesarchiv Appenzell

ной политической доктрины к современной конституционной и договорной теории (ср.: Duso 2003: 26). Тело Левиафана знаменует переход от идеи сообщества, состоящего из сословий, к концепции общества как «органического телесного единства». Однако в результате политическое тело не становится, как часто утверждают, устаревшей идеей; фронтиспис «Левиафана» — самое яркое свидетельство того, что это не так. Правда, образ политического тела, т. е. образ того, *кто* воплощает политическую власть и *где* она воплощена, действительно претерпевает существенные изменения. Выражением нового понимания является современный парламент в его французской форме.

Какие выводы следуют из этого для наших поисков символа единства политики в новых условиях демократического правления? В случае Англии (и, позднее, всех стран Содружества) этим символом оставался сам монарх. И хотя он присутствует только как изображение, как королевская голова у дальней стены палаты общин или как подпись под всеми актами парламента, монарх наделяет парламент фикцией единства, которая не обязательно должна находить символическое выражение в физической архитектуре и особенно в плане расположения мест. В конституционной теории Содружества его «воплощением» сегодня все еще считается королева. Правительство объявляет о своей законодательной программе в речи, которая произносится с трона; каждый парламентарий в каждом из парламентах Содружества, от Антигуа до Тувалу, приносят личную «клятву верности» британскому монарху: «Клянусь Всемогущим Богом, что буду предан и истинно верен Ее Величеству Королеве Елизавете, Ее наследникам и преемникам, согласно закону. И да поможет мне Бог»<sup>17</sup>. В политическом отношении английский парламент занял политическое тело короля, однако природное тело монарха не утратило из-за этого своей функции источника единства. Сегодня церемонии палаты общин, «повсеместное следование которым играет важную роль как в объединении пространственно разделенных народов, так и в связывании разъеди-

---

17. Клятва, которую дают члены парламента в таких странах, как Австрия и Швейцария, приносится на тексте конституции. В парламентских монархиях, таких как Испания или Бельгия, монарх сам (или сама) дает клятву верности конституции (см. статью 91 испанской Конституции и статью 61 Конституции Бельгии).



ненных во времени поколений», по большей части все еще символизирует отношения парламента «с центром имперского единства, Королем» (Camrion 1950: 56). Не хватало именно новой символики политического единства, полностью отличающейся от символики *ancien régime*. Американский пример показывает, что речь здесь идет не об общем влиянии англосаксонской конституционной мысли, но, скорее, об идее объединяющей, сплачивающей Содружество монархии. Ни Соединенные Штаты, ни европейские конституционные монархии (сами не избежавшие влияния Французской революции) не могли, да и не желали принимать такую идею.

Новая символика политического тела требовалась в значительно большей степени во Франции, где апофеоз королевского тела дошел до крайних пределов в период абсолютного правления Людовика XIV. Непоправимый ущерб, который был нанесен политическому телу короля в результате казни Людовика XVI, должен был получить символическую компенсацию. В то время как в Англии можно было заявить: «Король умер, да здравствует король!», французская формула 140 лет спустя гласила: «Король умер, да здравствует республика!». Цареубийство в Англии произошло слишком рано для того, чтобы повлечь за собой распад старого династического способа легитимации политического правления. Продолжая настаивать на доктрине «двух тел короля», парламент успешно расширил границы своей власти, однако так и не смог уничтожить природное тело короля после того, как в значительной мере взял на себя его политическую роль. Результатом стал конституционный компромисс, заключенный в 1688 г. между королем и парламентом. Во Франции, с другой стороны, вакуум, образовав-

шийся после смерти короля, заполнила идея нации. Революция продемонстрировала смертность политического тела короля, считавшегося бессмертным, но теперь необходимо было найти новое воплощение национальной идеи. Это произошло незадолго до того, как «Марианна вступила в битву» во имя свободы и демократии (ср.: Agulhon 1981; Landes 2001). Что касается верховного локуса политической власти, то короля в качестве «священного или высшего центра» заменил парламент (Burke 1993: 11). Этот новый центр больше не имел сколько-нибудь явной внутренней структуры, но все же должен был символизировать единство.

Тезис данной главы заключается в том, что полусфера служила именно этой цели. Палата депутатов сама была теперь новым освященным политическим телом, с кафедрой как главой и пленарным заседанием как устремленным к ней торсом<sup>18</sup>. Этот образ может быть прочтен столь буквально потому, что торжественное открытие только что выстроенного Зала заседаний в Бурбонском дворце 21 января 1798 г., в пятую годовщину казни Людовика XVI, было не просто мрачным совпадением (ср.: Morin 1998: 33–34). Более того, в дискуссиях о том, почему полукруг одержал победу над кругом — са-

---

18. Это архитектурное выражение образа представительства как *caput-corporis* (главы-тела): «Важнейший образ соответствует метафоре головы и членов, образуя дуализм представительства в виде *caput-corporis*. В то время как в отношении с другими персонами [...] председатель (голова) представляет персону законодательного тела, с внутренней точки зрения доминирует коллективное воплощение собранного вместе многообразия, корпорация, которая придает определенную форму собранию членов, фактически производя ее в глазах закона, и которая символически изображает всех членов в целом» (Hoffmann and Dreier, 1987: 166).

мой известной «эмблемой национального единодушия», фигурировавшей во многих проектах перепланировки парламента и во время революционных празднеств, — имеет место прямая ссылка на новое «воплощение» политической власти (Ozouf 1988: 131; ср.: Leith 1991). «Полукруг, — пишет Мопен, — кажется более подходящей формой, нежели круг, для олицетворения народа оратором, выступающим с кафедры» (Morin 1998: 43–44).

Кроме этой далеко идущей интерпретации парламента как образа политического тела, представляется несомненным, что новый французский план расположения мест упрочился не как схематическое выражение новой лево-правой, правительственно-оппозиционной семантики, а как символ нового общественного единства. Суть этой программы политических образов еще больше проясняется, если задаться вопросом, почему в проекте французского парламента не было ни одной ссылки на британский парламента, ранее вполне успешно защищавший перед лицом короля независимую демократическую волю. Разве это не было бы логично, особенно с учетом того, что вестминстерский план расположения мест вполне соответствовал новому политическому делению на прогрессистов и консерваторов? Все дело в том, однако, что времена радикальных перемен обычно сопровождаются «кризисом политических образов» (Michael Diers), и поэтому невозможно было заимствовать парламентакий проект, который напоминал народу о сословном представительстве и препятствовал визуализации только что объединенной национальной воли, пришедшей на смену старой монархической. И хотя, в том числе в долгосрочной перспективе, Французская революция ввела семантику левого против правого, консервативного против прогрессивного, эта полити-

ческая дихотомия могла развиваться только на фоне идеи единства, отвечавшей абстрагированному образу политического тела. Как доказывал в другом контексте Алоис Хан, процесс общественной дифференциации в современный период предполагает репрезентацию общественного единства (Hahn 1993). Нация или республика, сплавленные воедино идеей политического тела, служили именно этой цели. Новые идеи национального единства нашли выражение в новом проекте парламента, наиболее значимыми аспектами которого служили полукруг и символизировавшая главу центральная кафедра, на которую поднимались ораторы<sup>19</sup>.

Таким образом, переход от схемы сословного парламента с тремя секциями слева и справа от короля и напротив него к однородному полукругу знаменовал фундаментальное изменение в способе политического представительства, связываемое нами с Французской революцией.

Это фундаментальное изменение основано [...] на победе новой концепции общества. Общество больше не выглядит структурой, состоящей из различных тел и партий, но обретает коллективное измерение, отправным пунктом которого выступает человеческий индивид. [...] Речь уже не идет о представительстве частей общества или отдельных потребностей перед лицом высшей инстанции (королем), но скорее о выражении через представительство воли нации. Таким образом, представительное тело наделяет голосом

---

19. Моя интерпретация прямо противоположна точке зрения Томаса Мергеля, считающего, что британский план расположения мест был «классической парламентской схемой», в то время как французский полукруг возвращался к традициям сословного представительства (Mergel 2002: 145).

не многообразии отдельных волений различных сословий, но *единую* волю нации. Речь поэтому идет о *представительстве политического единства* (Duso 2003: 16; выделено автором. — Ф.М.).

Теперь задача заключалась в том, чтобы найти символическое выражение этого единства, поскольку, естественно, остро стоял вопрос о том, действительно ли новое политическое тело способно, подобно королю, говорить одним голосом. Политические карикатуристы прекрасно понимали эту дилемму, с которой пришлось иметь дело новой форме правления (см. рис. 8).

В контексте теорий тела, распространенных в то время, новая демократическая форма правления казалась настоящим уродством. Прямо пародируя фронтиспис «Левиафана» Гоббса, политическое тело, усыпанное говорящими одновременно лицами, было совершенно другим чудовищем и графическим выражением той мысли, что демократия есть «чудовище о многих головах» (Archambault 1967: 38). Поэтому архитектурная демонстрация демократического представительства должна была пониматься как своего рода лекарство. Проблема «многоголосой» демократии была решена за счет помещения оратора в центр: полития все еще имела множество голосов, однако теперь они могли звучать только по одному. В этом новом плане расположения мест в парламенте каждый из слушателей сидел лицом к центру, к временному «главе государства», который говорил устами сменяющих друг друга ораторов, находясь на возвышении, во многом подобно телу Левиафана, «*entre le ciel et la terre*, между небом и землей» (граф Воблан, цит. по: Heurtin 1999: 113)<sup>20</sup>.

---

20. Поэтому важно было строго соблюдать права спикера и вы-



РИС. 8. Политическое тело,  
или Интеллект на марше  
ИСТОЧНИК: National Library of Medicine,  
Bethesda

С учетом этого можно себе представить, сколь серьезным вызовом для революционеров был «монархический синдром». Необходимо было создать концепцию государства, концепции включенных в него публичной и общей воли, не привязанных к политической персоне государя; и они должны были найти институциональный локус для дискурса, соответствующего этим понятиям. [...] В отличие от политической логики *ancien régime*, объявлявшей короля единственным представителем всего народа, первая задача революции заключалась в том, чтобы занять риторически позицию прежнего суверена и наполнить ее перформативными речевыми актами (Koschorke et al. 2007: 236).

Парламент был институциональным локусом, позволившим риторически заполнить политический центр, опустевший со смертью короля.

В этом смысле форма амфитеатра должна пониматься как символ единства. Ее семантическое измерение явно не исчерпывается отсылкой к античности, поскольку передает идеологию политического единства, ведущую происхождение из телесных аналогий, которые существовали начиная со Средних веков и вплоть до периода позднего абсолютизма. Учитывая взрывное распространение таких метафор в период революции, уместно предположить, что идея политического тела продолжила свою жизнь в амфитеатре (ср.: Ваескье 1997, 1988). Не случайно в эссе 1789 г., озаглавленном «О народе», задавался вопрос, «можно ли представить себе народ Афин в виде какой-то конкретной фигуры» (цит. по: Cas-

---

слушивать его, храня молчание (Weng 1986: 254): «Никто не должен вставать для выступления, не получив приглашения от председателя».

telnuovo 1981: 8 и 17, п. 29)<sup>21</sup>. Ссылка на античность, как мы видим, преломлялась через современные требования легитимации, поскольку такого рода вопросы могли осмысленно ставиться только с помощью идеи политического тела короля. Наша интерпретация согласуется с тезисом, что новые формы французской революционной архитектуры, которым мы обязаны доминирующему сегодня парламентскому полукругу, демонстрируют значительно более тесную, чем обычно считается, преемственность с *ancien régime*. В своем подробном исследовании Лейт даже делает вывод, что амфитеатр был «продуктом понятия суверенитета, унаследованного от старого порядка» (Leith 1991: 85; выделено мной. — Ф. М.).

С точки зрения теории, король олицетворял *la chose publique*, государство, которое он выражал в своей единой воле. Когда произошел переворот и сувереном стала нация, идея единой воли продолжила свое существование, отрицая законность политических партий, представляющих отдельные интересы. Несмотря на то, что фракции все же появились, идея объединенной воли сохранилась, получив выражение в амфитеатре, который стал доминирующей формой легислатур за пределами Британии и остававшихся под ее контролем колоний (Ibid.; ср.: Boyer 1952).

---

21. Розанваллон (Rosanvallon 1998: 36–37) пишет о предложении Давида Конвенту в 1793 г. возвести на Пон-Нёф огромную, изображающую французский народ статую, которая «символизировала бы пришествие нового суверена и разрушение старого порядка». Цоколь предполагалось сделать из старых статуй королей, украшавших Собор Парижской Богоматери (Ваеске 1994: 125–136). Бек также видит в метафоре политического тела «и его преобразовании из „тела короля“ в „великое тело граждан“ ... конфигурацию... которая позволяет понять идею самой революции, а именно переход от монаршего суверенитета к суверенитету национальному» (ibid.: 138, п. 8).



## 2.4

Парламентаризация доктрины  
божественного права<sup>22</sup>

В данной главе мы пытались показать, что современный полукруговой план расположения мест в парламентах западных демократий не должен рассматриваться ни как победа чисто технически-функциональных соображений лучшей видимости или слышимости, ни как историческая случайность (Goodsell 1988), ни как выражение скорее консенсусной, чем состязательно-конфронтационной политической культуры (Döring 1995a; Interparliamentary Union 1976). Более того, нет никакого соответствия между расположением мест и партийной системой, и было бы заблуждением считать введение *hémicycle* (т. е. полукруга или амфитеатра) в ходе Французской революции заимствованием из афинской демократии, продиктованным главным образом требованиями легитимации. Наконец, неверно рассматривать полукруг как ключевой момент в формировании современной лево-правой семантики или как архитектурную форму, гарантирующую «общее знание» в парламенте (Chwe 2001). Скорее, полукруг находился, с точки зрения легитимации, в том же ряду, что и система правления, уничтоженная незадолго до этого. Как только тело короля перестало служить символом политической власти и политической воли, на повестку дня встала выработка новых символов национального единства. Такое единство существовало прежде всего

---

22. Это плодотворное понятие заимствовано из работы: Marion G. Müller (2003).

в парламенте, «центре эстетической символизации народа в демократии» (Vorländer 2003: 23).

Первый вывод, следующий из нашего рассуждения, касается теории демократии. При всем уважении к Карлу Шмитту, простое собрание всех членов политики на агоре или форуме и принятие решений на основе единодушного одобрения не является центральным референтом современной демократии (см. Vöckenförde: 1987: 30, 35). Наиболее существенное влияние на идею представительства оказал образ политического тела короля, и новый порядок должен был найти способ его имитации<sup>23</sup>. Таким образом, с самого начала новый дискурс властвования содержал идеи представительной демократии, которые не рассматривались как нечто «вторичное», как какая-то «урезанная» или «размытая» форма «истинной» демократии. Форма амфитеатра, следовательно, не должна интерпретироваться как стремление к афинскому идеалу собрания, такому как Пникс, куда имели право приходить и где могли голосовать все граждане. Первым сочинителям демократических памфлетов собрание всего народа в целом казалось совершенно чудовищной идеей: «народ в целом — чудовище, неповоротливая, грубая и бесполезная масса» (Morgan 1988: 67).

В развиваемой мною аргументации подчеркивается также влияние (по большей части христианской) политической теории и теологии и, следовательно, значение, которое это культурное наследие имеет для понимания демократического правле-

---

23. В отличие от Мишеля Фуко, я не думаю, что «политическая анатомия» современного правления, которая, на его взгляд, нашла архитектурное выражение в Паноптиконе Бентама, является «полной противоположностью» «телу короля с его странным материальным и мифическим присутствием» (Foucault 1977: 208; Фуко 1999: 305).

ния. Современный план расположения парламентских мест примыкает к длинному списку примеров «воображаемого сообщества» (Бенедикт Андерсон), в соответствии с которым создается правящий в демократии *demos*. Таким образом, национальная идея была не причиной, а следствием фундаментального изменения в способе легитимации политического правления. Но это придумывание и изобретение нации происходило *ex nihilo*, оно использовало в своих целях наличный запас символов, идей и метафор. Идея политического тела занимала центральное положение в контексте революционных перемен (Baecque 1997: 4; ср.: Melzer and Norberg 1998; Outram 1989). Нация была абстрактной идеей, но революционеры 1789 г. немедленно связали с ней идею «живой коллективной персоны (*personnage collectif bien vivant*)» (Rosanvallon 2000: 25). С этой точки зрения, форма амфитеатра, упрочившаяся в ходе революции, выражала нечто большее, чем необходимость смягчить с помощью «исторического маскарада» суровость «революционной нулевой точки» (Blumenberg 1985: 93)<sup>24</sup>. Скорее, новая форма правления была легитимирована с помощью семантики, которая оставалась тесно связанной с *ancien régime*. Что касается понятия «революционной нулевой точки», то оно содержало в себе политически мотивированную самоидеализацию приверженцев революции, которую не следует принимать за чи-

---

24. «И хотя они кажутся поглощенными революционизированием самих себя и материальных объектов, созданием того, что никогда ранее не существовало, именно в такие эпохи революционного кризиса они без устали вызывают о помощи к духам прошлого, присваивая себе их имена, боевые кличи и платья, чтобы разыграть новый эпизод мировой истории в освященном времени чужом обличье и на этом чужом языке» (Schmitt 1989 [1928]: 103–104).

стую монету. Характерная для французских революционеров «одержимость амфитеатром» (Ozouf 1988: 130) не была простой ссылкой на античность.

Можно сделать еще один вывод. Современные демократии, как мы видели, не считали гоббсовское тело государства чисто негативным образом; новые парламенты сами продолжали традицию «политического тела», в которой Гоббс занимал важное место. Если этот тезис верен, современная демократия не может быть охарактеризована как форма правления, лишенная образного ряда. Проследив за формами, в которых (обычно отвергаемая) идея политического тела выжила в условиях представительной демократии, мы увидим скрытые символические измерения этой формы правления. Благодаря им становится понятно, что демократия — не безобразная (*imageless*) и лишенная культурных предпосылок реализация чистого разума. Понимать ее всего лишь как «наследие естественного рационального права» и выводить ее легитимность только из этого источника (Habermas 2006: 56) значит придерживаться узкого и, следовательно, сомнительного взгляда на современную демократию.

В следующей главе будут приведены дополнительные эмпирические примеры в пользу доказываемого нами тезиса. Теперь наше внимание сосредоточится на других сторонах современного парламентского правления, таких, например, как депутатский иммунитет, публичный характер парламентских слушаний и идея парламента как зеркального отражения общества. Эти демократические практики и концепции раскрывают свой смысл только тогда, когда мы рассматриваем их в контексте продолжающего существовать образа «политического тела», т. е. когда мы понимаем их как следы монархии, сохраненные исторической памятью.

### 3

## Парламент как политическое тело — иммунитет, публичность, пропорциональность и прерывность

Последуйте за своими лозунгами до конца, до того момента, пока они не воплотятся в жизнь.

*Георг Бюхнер, «Смерть Дантона»,  
действие III, сцена 3*

### 3.1

#### Похищение тела республикой

ЛЮДОВИК XVI был обезглавлен в Париже 21 января 1793 г. Весь район казни был оцеплен. Солдаты охраняли общественную безопасность на Площади революции и на пути к эшафоту. «Из-за огромной фаланги солдат, [...] более 300 ярдов в глубину, стоявшая снаружи толпа не могла услышать ничего из того, что говорил Людовик XVI, или рассмотреть в деталях его лицо и тело» (Sennett 1994: 303; Hunt 1992: 1–2). Ожидали, что смерть монарха вызовет беспорядки и грабежи. Мысль об этом является «невротическим моментом кризиса» в любой системе личного правления (Bredenkamp 1998: 109). Вряд ли кто-либо из толпы был способен увидеть отсеченную голову французского короля, изображение которой дошло до нас в виде

гравюры (см. рис. 9). Тем не менее, продемонстрированная толпе голова стала символом падения старого порядка и победы нового режима.

Отрубленная королевская голова служила доказательством конца *ancien régime*. Пути назад не было: «да и где это видано, чтобы туловище без головы продолжало функционировать как ни в чем не бывало?» (Archambault 1967: 34)? Подобно тому как «совершенно абсурдно было бы оживлять человека, голова которого отрублена» (статья «Смерть» в *«Encyclopédie»*, цит. по: Agasse 1989: 37), столь же нелепым должно было показаться желание оживить монархию после смерти короля.

Публичная казнь Людовика XVI может быть интерпретирована как демонстративная антитеза королевской церемонии похорон *ancien régime* (Ben-Amos 2000: 17–20; Traeger 1986; Gieseey 1960). Никакого оплакивания — только триумф; никакой непрерывности — только намеренный разрыв; никаких долгих ритуалов — только резкий и сильный шок. Никакой грандиозной процессии, никакой погребальной маски или эффигии, демонстрирующих двойное тело короля и символически отделяющего положение во власти от персоны, политическое тело от корпорального, «мистическое и вечное» от «плотского и смертного»<sup>1</sup>. Вместо этого — зрелище грубой физической силы, лишаящее королевское тело всякой тайны, демонстрация чистой *physics* без какой-либо *metaphysis*, как будто выставленная

---

1. Тела Людовика XVI и Марии-Антуанетты были погребены в общей могиле на кладбище Мадлен, а 21 января 1815 г., в двадцать вторую годовщину казни, их эксгумировали и перенесли в сопровождении торжественной процессии на традиционное место захоронения монархов в храме при аббатстве Сен-Дени (Ben-Amos 2000).



РИС. 9. Коронованным плутам — пища  
для размышлений  
источник: Bibliothèque Nationale, Paris

на обозрение королевская голова доказывала раз и навсегда, что фигура короля не содержит в себе никакого дополнительного политического тела.

Речь, несомненно, шла о том, чтобы полностью разделаться не только с монархом, но и с самой монархией, и заменить ее новой формой правления, очерченной в общих чертах Робеспьером в речи 3 декабря 1792 г. в связи с процессом над Людовиком XVI: «Людовик должен умереть, чтобы могло жить Отечество». Казнь была актом, знаменовавшим переход суверенитета от короля к нации. Это было перемещение жизни из старого политического тела в новое, и, следовательно, в действие приводился совершенно особый тип наследования (ср.: Walzer 1974; Dunn 1994). Династическая кровь, легитимировавшая наследника в условиях монархии, подтверждала теперь права демократического преемника. Для новых правителей смерть короля служила гарантией их суверенитета (Sennett 1994: 296). «Людовик XVI был принесен в жертву новому политическому телу, санкционированному народным суверенитетом и состоящему из граждан республики» (Goldhammer 2005: 61). «Декапитация» Людовика XVI была «коронацией» народа (Dunn 1994: 16, п. 6). Труп монарха осуществил инаугурацию нового республиканского тела народа. Смерть короля знаменовала рождение демократии: «Le roi est mort, vive la République! (Король умер, да здравствует республика!)»<sup>2</sup>. Новое политическое тело

---

2. «Публичное царубийство является отрицанием не законодательной власти короля или его исполнительных прерогатив, но его персональной неприкосновенности и, следовательно, неприкосновенности всех таинств королевской власти, без которых практическая власть монархии не может долго существовать. [...] Публичное царубийство — абсолютно решающий способ, позволяющий по-



пробралось на сцену через «окно», образовавшееся благодаря гильотине и ее ножу, который отсек голову короля.

Казнь короля была полным отрицанием старого порядка, но она показала также, что революционеры все еще находились под колдовским влиянием абсолютистских образов и идей, связанных с телом короля, которые новый, просвещенный порядок решил уничтожить<sup>3</sup>. Страх перед беспорядками, полученная в качестве трофея голова как доказательство чисто физической природы короля, казнь как насильственное прекращение циркуляции королевской крови (см. рис. 9), спешная обработка трупа известью на кладбище Мадлен, запрет публично выставлять фигуры Людовика XVI (и, позд-

---

рвать с мифами старого режима, и в силу этого оно является основополагающим актом нового режима» (Walzer 1974: 5). Ср.: Mayer 2000: 188): «Цареубийство имело целью свержение теологически сакрализованного короля и политического строя. В соответствии с поставленной целью Людовик XVI стал сакральной жертвой в импровизированном ритуале перехода от *ancien régime* к новому политическому и общественному порядку».

3. «Декларации молодой республики следовали четкой программе. Их целью была десакрализация королевского тела, с тем чтобы в процессе редукции оно в конце концов стало голым, не содержащим в себе никаких тайн фюссом» (Koschorke et al. 2007: 224). Однако «даже холодный функционализм революционеров, даже материалистическое презрение, с которым они уничтожали сверхъестественную монархию, не спасли от парадоксального итога, когда они сами были охвачены и заражены верой в сверхъестественное. Вся беспощадная профанация, которой они подвергли персону короля, была с их стороны лишь контр-магией, противостоявшей магии королевской власти» (ibid.). Все многочисленные меры по секуляризации «непреднамеренно подтверждали существование магических сил, все еще наполнявших мертвого короля и его останки» (ibid.: 225).

нее, Марии-Антуанетты) в музее восковых фигур доктора Курциуса...<sup>4</sup> *Ancien régime* и его программа политических образов продолжали диктовать символические условия собственного уничтожения.

Это абсолютно ясно из церемоний, имевших место до и после казни. Днем ранее, 20 января, тело депутата Лепелетье, убитого роялистами за поддержку решения о казни, было выставлено в открытом парадном гробу, с его лица сняли посмертную маску. Национальное собрание заказало мраморный бюст мученика, и в итоге он был погребен в Пантеоне. Когда 13 июля произошло убийство Марата, республика организовала церемонию с похоронной процессией, парадным ложем, посмертной маской и восковой фигурой; его легкие и внутренние органы были извлечены из тела, сердце набальзамировано и помещено в погребальную урну; тело было похоронено в свинцовом гробу и т. д. Все это были имитации или модификации церемонии королевских похорон (детальное описание см.: Traeger 1986: 171–181).

Портреты Лепелетье и Марата кисти Давида вскоре украсили помост Национального собрания в парламентском зале дворца Тюильри. «Их раны были четко прорисованы и напоминали [...] коллегам по Национальному конвенту об уязвимости единого и неделимого тела, которое они совместно представляли» (Traeger 1986: 185). С другой стороны, благодаря этим портретам «индивидуальные смертные тела принимали зримое участие в непрерывающемся и целостном *corps législatif*, законода-

---

4. Доктор Курциус и Мари Тюссо сделали восковые маски Людовика XVI и Марии-Антуанетты сразу после казни, но по распоряжению Конвента не должны были выставлять их в Салоне восковых фигур (Pilbeam 2003: 49).

тельном теле, заменившем тело короля. Как будто для того, чтобы раз и навсегда рассеять магию королевского тела, в августе 1793 г. королевские гробницы в Сен-Дени были разрушены (Rader 2003: 82–83; Goldhammer 2005: 30), а в сентябре остатки королевского гардероба преданы огню в праздничном аутодафе на Площади революции (Koshcorke et al. 2007: 222). Месяцем позже на рыночной площади в Реймсе состоялась еще одна торжественная публичная казнь: особый уполномоченный Собрании разбил священный фиал (Святую Стекляницу) с миро для помазания на царство французских королей, которым, по преданию, пользовались со времен крещения меровингского короля Хлодвига I в 496 г. «Посмертные действия по уничтожению следов [...] говорят о страхе, который все еще вызывали у революционеров монархические реликвии и который в конце концов заставил их осквернить могилы». Необходимо было стереть всякую память о *monstres divinisés*, обожествленных чудовищах (ibid.: 222–223)<sup>5</sup>.

Есть ли основания предполагать, что идея (королевского) политического тела, игравшая важнейшую роль в *ancien régime*, оставила след только в новой республиканской программе символов, а не в дебатах о конституции? Ряд авторов считает, что казнь Людовика XVI знаменовала конец идеи

---

5. Революционеры видели опасность, которую все еще представляли для республики королевские тела: «Из глубины своих могил [они] сегодня все еще бросают вызов законам равенства» (цит. по: Goldhammer 2005: 30). В ходе «кукольной казни», свидетельствующей о том, что от королевских изображений все еще исходили колдовские чары, революционеры отрубили головы статуям французских королей, которые украшали фасад Собора Парижской Богоматери» (ibid.: n. 22).

политического тела. Демократическая революция, аргументирует Клод Лефор, разразилась, «когда тело короля было уничтожено, когда политическое тело было обезглавлено и когда, одновременно, была разрушена корпоральность общественного» (Lefort 1986: 303)<sup>6</sup>. Демократическое правление добивается развоплощения власти, общества без тела (Lefort 1988: 17; Лефор 2000: 28). Бёрк, со своей стороны, оплакивал утрату чувственной репрезентации власти, вызванную смертью монарха. В соответствии с принципами новой «механической философии», в которой правит тот, кто способен обеспечить большинство голосов или голов, «наши институты никогда не будут воплощены в персонах, чтобы вызывать в нас любовь или благоговение» (Burke 1955 [1790]: 88).

Конечно, цель свержения короля заключалась в том, чтобы отнять у *ancien régime* его важнейшее право легитимации. Любой «процесс делегитимации в конце концов приводит к тому, что на первый план выходит и становится наглядным фантомный характер власти; сопровождающая ее аура объективного факта и природной необходимости

---

6. «При демократии народ больше не имеет формы: он теряет всякую телесную плотность и становится просто числом, т. е. силой, состоящей из равных, совершенно эквивалентных в глазах закона индивидов» (Rosanvallon 1998: 18; ср.: Burke 1955 [1790]: 88). Как мы видели в главе 1, Фуко, по-видимому, придерживался аналогичной точки зрения («она [Республика] никогда не функционировала так, как действовало тело короля при монархии. У Республики нет тела»), хотя он писал также, что «самым большим фантазмом» демократии является «идея некоего общественного тела, которое якобы создается совокупностью волей» (Foucault 1980: 55; Фуко 2002: 161). Этот фантазм политического тела народа сосредоточен в парламенте как его представительстве.

рассеивается, главные ритуалы профанируются, образы разрушаются, и в результате король совершенно неожиданно начинает выглядеть голым» (Stollberg-Rilinger 2005: 21). Однако фиксация на теле короля сигнализирует также о границах легитимности нового режима и очерчивает сферу его собственных ритуалов, образов и символов. Идея политического тела, таким образом, сохраняла свое исключительное значение после 1793 г., и не только для грандиозных революционных праздников или церемоний «пантеонизации» новых героев Республики (Melzer and Norberg 1998; Vaeque 1997; Outram 1989; Traeger 1986), но и для политических дебатов по проекту новой конституции. Как мы увидим ниже, телесные образы сохраняли центральную роль в легитимации нового режима именно потому, что главные аргументы, нацеленные на выработку новой идеи демократической легитимности, опирались на традиционные идеи, связанные с монархическим суверенитетом (Kielmansegg 1977)<sup>7</sup>. В этом смысле Французская революция была не началом процесса просвещенного развоплощения политического порядка, а, скорее, демократической оккупацией тела короля, республиканским «похищением тела».

Разумеется, казнь Людовика XVI была «декорпорализацией монархии» (Traeger 1986: 187–192), однако ее считали также политическим поглощением тела короля «каннибальской республикой»

---

7. «Теория демократии с самого начала как бы надела на себя оковы в попытке зеркально отобразить монархическую легитимность в легитимности демократической» (Kielmansegg 1977: 232). Но если это теперь, по примеру абсолютных монархий, говорит о «коллективном как суверене, о суверенном народе, то предполагает [...] неизбежно органические образы сущности коллективного» (ibid.: 243).

(Burke 1884: 241, 287). Последствия этого для нашего сегодняшнего понимания и нашей сегодняшней организации парламентской формы правления выяснятся из рассмотрения следующих четырех аспектов: иммунитета членов парламента, публичности парламентских дебатов, пропорциональности парламентского состава и прерывности парламентского правления. В каждом мы обнаруживаем следы, отсылающие к идее политического тела в его монархическом выражении. Рассмотрим это более подробно, ответив на следующие четыре вопроса. Почему депутаты парламента обладают иммунитетом от преследования? Почему парламентские дебаты носят публичный характер? Почему парламент должен отражать многообразие, существующее в обществе? Почему законодательный процесс прерывается с окончанием срока полномочий парламента?<sup>8</sup>

---

8. Это бросает вызов точке зрения Карла Шмитта (обычно принимаемой в качестве самоочевидной), что «все специфически парламентские схемы» обретают смысл только через «дискуссию и публичные заседания»; так что, «например, повсюду встречается положение о том, что всякий депутат — представитель не одной партии, а всего народа, и не связан никакими рекомендациями [...] и типичные, вновь артикулируемые гарантии свободы слова и предписания касательно публичности прений имеют смысл лишь при правильном понимании дискуссии.» (Schmitt 1985b: 5; Шмитт 2009: 8–9). Уже сама эта тавтология — публичный характер парламентских слушаний, исходящий из принципа публичной открытости демократии, — говорит, что здесь что-то не так. В данной главе будет показано, что свобода слова, парламентский иммунитет, принцип открытости и т. д. могут с тем же успехом иметь смысл без каких-либо ссылок на принцип публичных дебатов, а именно в случае привлечения идеи политического тела в ее современном, демократическом варианте.

Начнем с парламентского иммунитета. Чем объясняется «эта поразительная привилегия» (Schmitt 2008: 339)? Краткая ссылка на то, что он нужен для «защиты способности парламента работать и функционировать», не может считаться удовлетворительным объяснением.

### 3.2

#### «Мера святости» — парламентский иммунитет

1. До Французской революции роль и функция парламента были тесно связаны с монаршей персоной; любая легитимация парламентского правления выводилась исключительно из короля. Эта концепция все еще сохранялась на первой фазе революции, о чем свидетельствует решение о переезде парламента, принятое в октябре 1789 г. После того как Людовик XVI вынужден был отказаться от своего двора в Версале, Национальное собрание немедленно последовало за ним в Париж и объявило себя «неотделимым от персоны короля» (Assemblée Nationale 1989: 106; Castaldo 1989: 26)<sup>9</sup>. В качестве нового места пребывания Собрания был в конце концов выбран Манеж, на том основании что рядом

---

9. По сути дела, это подчеркивалось в отношении заседающего парламента: «Le roi et l'Assemblée nationale sont inséparables pendant la session actuelle (Король и Национальное собрание неразделимы во время текущей сессии)» (Castaldo 1989: 26, п. 66). Это отражает также и британский опыт. Вестминстерский дворец как дворец монарха выступает в роли принимающей стороны. Это «ни в коем случае не является случайностью и объясняется той ролью, которую играли средневековые короли в *создании* парламента» (May 1957: 232; выделено мной. — Ф.М.).

находился королевский дворец Тюильри (*ibid.*: 107). Как и в Версале с его придворными церемониями, именно пространственная близость к монарху наделяла легитимностью, статусом и политической властью (ср.: Burke 1993).

Когда через три с лишним года Людовика XVI казнили, новый порядок отрезал себя от этого источника легитимности. Парламент взял на себя полномочия *corps souverain*, апеллируя к истинному суверену в демократии — народу. Таким образом, у идеи политического тела в ходе революции изменился референт. Главным фантомом власти был теперь не король и два его тела; новое двойное тело состояло из народа и парламентского представительства народа. Двойное тело короля было, таким образом, упразднено «великим телом граждан и собранием депутатов, двойным телом современного политического представительства» (Ваескуе 1997: 9).

Такого рода формулы, превращавшие нацию в «субстанцию», а парламент в «исполнение» демократического суверенитета, легитимировали эту новую дуальность политического правления: «Вместо двух тел, когда-то объединенных в живом короле и буквально отделенных друг от друга в результате его смерти, на сцене появилось частичное тождество тела депутатов с единым, неделимым и неизменным телом, с помощью которого новый суверен принимал свои законы» (Traeger 1986: 195). В новых обстоятельствах бессмертное тело народа само стало источником политической власти; новым сувереном был народ, в то время как «вторым, нетленным телом народа» был «представитель народа» (Traeger 1986: 185). Вопрос о том, не являются ли все вообще «великие революционные моменты» «эпизодами *инкарнации*» (Starobinski, цит.



по: Wolf 2005: 244; курсив оригинала), можно пока оставить открытым. Но нет никакого сомнения, что это справедливо в отношении Французской революции — эпизода, в котором национальное демократическое тело стало плотью. Понятие единого народа стремилось принять посредством революции телесную форму и зеркально отобразить себя в парламенте (ср.: Rosanvallon 2006: 79ff.).

Переход суверенитета от короля к народу, скрепленный печатью королевской казни, сопровождался параллельным переходом святости: «Сакральность все еще присутствовала, но была перемещена из одного-единственного тела короля в коллективность тел нации» (Hunt 1998: 232). Новый порядок пытался набрать силу, поглощая тело короля и атрибуты его правления: «Революция возводила здание собственной легитимности и святости на руинах святости королевской персоны, используя ее в собственных целях и утверждая себя за счет ее уничтожения» (Arasse 1989: 50)<sup>10</sup>. Народ, таким образом, унаследовал атрибуты королевской власти. Неприкосновенность и святость (!) королевской персоны, гарантированные французской конституцией 1791 г., все в большей степени применялись

---

10. Поглощение тела короля республикой-каннибалом было не просто метафорой. После казни Людовика XVI депутат Луи Легренд (Legrende) предложил, чтобы королевское тело было разрублено на восемьдесят три кусочка и разослано по департаментам Франции (Goldhammer 2005: 50; «*Qu'on le mette à mort, qu'on le coupe en quatre-vingt-trois morceaux, et qu'on l'envoie ainsi aux quatre-vingt-trois départements*» — Казнить, разрезать на восемьдесят три куска и в таком виде разослать во все восемьдесят три департамента). Аналогичные образы имели хождение и в лагере короля. В качестве мести за казнь Людовика XVI предлагалось провести после падения республики 44 000 казней — по одной для каждой коммуны (Mauger 2000: 187).

к новому суверенному телу — народу. Посредством этого процесса революционной апроприации «лимб святости, которым теория божественного права наделяла персону короля», перешел к народу; «народ приобрел то, чего лишился король» (Arasse 1989: 52).

В формулировке того же Руссо, «суверенное тело народа в его качестве законодателя [...] свято и неприкосновенно, как государь согласно прежнему образу мысли» (Rousseau, цит. по: Butzer 1991: 39). «Неприкосновенностью, которой ранее пользовался государь», теперь «обладает новый носитель суверенитета — *corps souverain!*» (Klein 1989: 562). На следующем этапе — перехода к представительной демократии — «атрибуты святости и неприкосновенности народа как *corps souverain* переходят к его парламентским представителям» (Butzer 1991: 40) в процессе «парламентаризации» божьей благодати (Müller 2003), включающем обожествление народа как нового суверена в демократии<sup>11</sup>.

2. В изложении Робеспьером принципа иммунитета этот переход произошел на заседании Национального собрания 23 июня 1789 г.: «Иммунитет есть принцип, согласно которому ни одна власть

---

11. Якоб Таубес (Taubes 1983) и Ян Ассман (Assmann 2002) отмечают, что политическая теология может означать не только политизацию исходно теологических идей и понятий (как полагал Карл Шмитт), но также «теологизацию» политических идей и понятий. Последняя имеется в виду, когда речь идет о сакрализации демократического суверена. Миф о святом короле сменяется мифом о святом народе. Этот процесс можно проиллюстрировать на истории различных смыслов, которые придавались изречению *vox Populi, vox Dei*.

не может возвыситься себя над представительным телом нации; никто не вправе решать судьбу представителей. [...] Если бы она [нация] могла собраться как тело, то была бы их [представителей] истинным судьей» (цит. по: Klein 1989: 562). Никто не может поставить себя над новым представительным правящим телом. Только сама нация как наивысшая власть может принимать решения о применении законов к законодателю. При этом священная нация, которая не может физически собраться вся вместе<sup>12</sup>, получает воплощение в парламенте. И поэтому только парламент может принимать решения, касающиеся подчинения парламента закону<sup>13</sup>.

Именно в этом смысле, как писал Карл Шмитт, «привилегия» иммунитета есть «лишь одно из индивидуальных следствий представительного характера парламента» (Schmitt 2008: 339). Депутаты превращают *demos*, отсутствующего суверена, в суверена присутствующего. В качестве его «святых образов» они причастны его святости и неприкосновенности. Принятая сегодня формулировка, касающаяся «достоинства палаты», является далеким отзвуком

---

12. Это хорошо известный аргумент *difficultas conveniendi* (трудность общего сбора) (см.: Hofmann / Dreier 1987). «Все в целом тело народа слишком громоздко, чтобы его можно было собрать все вместе» (Harrington, цит. по: Skinner 1978: 30). «Народ в его непосредственной данности не является телом, способным к действию» (Böckenförde 1987: 33).

13. И вновь, по аналогии с монархическим суверенитетом («король не может сделать ничего дурного»), в условиях демократии народ или парламент всегда правы. «Акт парламента не может произвести ничего дурного» (Loewenstein 1967: 65). «Народ всегда добродетелен. [...] Каким бы образом нация ни выражала свои желания, ее желания вполне достаточно; все формы хороши, и воля ее всегда есть высший закон» (Сийес, цит. по: Schmitt 1985a: 48; Шмитт 2000b: 74).

требования, согласно которому парламент и парламентарии должны обладать «мерой святости» (Эдмунд Берк, речь 11 февраля 1780 г., цит. по: Leibholz 1966: 166), — притязания, которое в свое время обсуждалось со всей серьезностью, поскольку в контексте монархической легитимации казалось неоспоримым. Поэтому Ляйбхольц, например, совершенно прав, игнорируя давно устаревший аргумент, будто принцип иммунитета защищает депутатов парламента от произвольного, политически мотивированного ареста, и обсуждая данный принцип прежде всего в связи с «независимым политическим достоинством» парламентариев (Leibholz 1966: 166) (заметим, что достоинство это является не «независимым», а именно что производным). Наше воображение, пишет Ляйбхольц (*ibid.*: 175–176), рисует парламентских представителей, «как и их решения, в облачении святости», и именно это служит подтверждением принципа иммунитета (Butzer 1991: 72). Статус парламентариев передается термином «священный»: они неприкосновенны так же, как до них король (или трибун в римском праве), *потому что* они священны или *потому что* они являются представителями священного *demos*'а (ср. Soulier 1966: 12).

Институт парламентского иммунитета покоится поэтому на том же основании, что и принцип дипломатического иммунитета. В обоих случаях решающее значение имеет символическое измерение. Дипломат рассматривается как «святой образ» суверена. Послы представляют своего монарха, «не только вызывая в памяти отсутствующего правителя, но также как бы реально представляя его посредством своего присутствия» (Paulmann 2000: 44). В качестве личных представителей суверена они причастны его святости и неприкосновенности, разделяют с ним его *dignitas*. По сути

дела, это объясняет особые формы дипломатического общения (см.: Hoffmann 1998: 178–190), например право на официальную форму обращения «Ваше превосходительство», право на «балдахин в зале приемов», право снова надевать шляпу после акта приветствия и, наконец, право на иммунитет. Посланник — *imago rei*, или тень от королевского тела. Поэтому причинение ему вреда является хорошо известным *casus belli*.

Итак, парламентарии как бы реально представляют нового суверена — народ — и причастны его святости. Иногда даже утверждают, что представляемые живут в своих представителях и действуют через их посредство: «L'essence de la représentation est que chaque individu représenté vive, délibéré dans son représentant» («Суть представительства в том, что каждый представляемый индивид живет как предмет дум в своем представителе») (цит. по: Loewenstein 1964 [1922]: 202, прим. 73). Демократия изображается здесь как политический театр, в котором публика осознает саму себя только через мнения своего представителя. Народ, не разделенный более на корпоративные сословия, но состоящий из индивидов, которые, взятые коллективно, являются суверенным держателем власти, подобен публике, состоящей из «изолированных зрителей, которые образуют сплоченное тело через общее переживание происходящего на сцене действия» (Friedland 2002: 37). *Demos* в себе становится *demos*'ом для себя только благодаря созерцанию своего парламентского действия (*enactment*)<sup>14</sup>.

---

14. В своей захватывающей книге (2002) Фридланд описывает революционные изменения, происходившие параллельно в теории драмы и политическом представительстве во Франции конца XVIII века.

Единообразие политического представительства в парламенте, более не разделенном на сословия, является, в глазах Сийеса, главной предпосылкой сплоченной политики; оно одно наглядно отображает то, что «отличает нацию, организованную как политическое тело [*corps politique*], от гигантского скопления людей, разбросанных на площади в двадцать пять тысяч квадратных лье» (Sieyès 2003a: 5). Только сплоченность политического представительства превращает «сумму» в истинную «коллективность» (Сапован 2006: 353), конституируя тем самым единство демократического суверена: «Политическое представительство необходимо для того, чтобы придавать смысл и форму (*sens et corps*) идее нации. Только представительство является собранным вместе народом, ибо полнота его членов не может собираться каким-либо иным способом» (Sieyès, Archives nationales, 284 A.P. 5, folder 1 (2); ср.: Rosanvallon 2006: 89)<sup>15</sup>. В этом Сийес следует Гоббсу: «Ибо единство лица обуславливается единством представителя, а не единством представляемых». Такая идея встречается и в целом ряде других похожих формулировок. Главная функция парламента заключается в том, чтобы «представлять народ, конституировать нацию» (Heurtin 1999: 21–62). Что такое нация? Сийес отвечает: «Общество людей, живущих под общим законом и представленных одним законодательным учреждением» (Sieyès 2003b: 97). Это важнейшее свойство представительства:

---

15. «Поэтому нет ничего выше представительства: это единственное организованное тело. [...] Для того чтобы придать смысл и форму идее нации, требуется особый акт политического представительства; он один может произвести единство и неделимость, действительно обладая реальной властью воплощения» (Rosanvallon 1998: 50).

«Дело [...] не в том, чтобы перенести уже сформированную волю на политический уровень, но в том, чтобы придать представляемому форму, т. е. определить волю народа, которая содержится именно в этом определении» (Duso 2006: 24). Или: «Воля народа проявляет себя только в акте представительства [...]; только в этом акте народ [есть] конкретное и определенное существование» (ibid.)<sup>16</sup>.

Дефиниция представительства, которую дает Карл Шмитт, — «сделать невидимое бытие видимым и присутствующим через бытие публично присутствующее» (Schmitt 2008: 243) — является поэтому правильной в той мере, в какой парламентское подобие не только впервые вводит нацию в мир, но и вынуждает ее осознать свое «появление на свет». «Именно в этой операции [парламентского представительства] нация держит дистанцию с самой собой [...], достигает самоосознания и конституируется рефлексивно в качестве „полноценной нации“» (Heurtin 2005: 766)<sup>17</sup>. Благодаря

---

16. «Логика представительства [заключается] в том, что народ может действовать как политическое тело только в форме представительства» (Duso 2006: 25). Представительство означает «обретение формы». Этот акт «обретения формы» «существенно важен для понятия единства политического тела, политической персоны, народа как политического субъекта, а не простой суммы индивидов» (ibid.: 28). Подобно этому Хофманн и Дрейер (Hofmann and Dreier 1987: 175) пишут: «По сути дела, ни представительная демократия авторов „Федералиста“, ни национальное представительство в столь же новаторской модели аббата Сийеса никак не ущемляли нацию, не „аннексировали“ ее и не заменяли „суверенным представительством нации“, но скорее впервые конституировали и организовывали ее как созидательный орган представительства народа».

17. Нет никакого предсуществующего народа, пытающегося найти демократические органы для правления самим собой:

дистанцированию становится возможным самоосознание, а с ним и сознательное конституирование нации. Парламентское удвоение тела народа является условием его эмансипации, поскольку «познай самого себя» означает «подели самого себя, или будь двумя» (Kluxen 1963: 523)<sup>18</sup>. Цель парламентского представительства народа состоит в том, чтобы «произвести саморефлексию власти суверенитета, которая, строго говоря, ее конституирует» (Heurtin 2005: 769). Или, согласно другому смыслу метафоры *caput-corporis*: только благодаря парламентскому представительству «общественное тело получает голову» (Сийес, цит. по: Heurtin 2005: 766, п. 42). Но в качестве повитух политического тела народа парламентские деятели причастны его атрибутам суверенитета и святости.

3. Впрочем, в Англии, где парламентский иммунитет восходит к более древним слоям права, мы действительно находим элементы средневековой концепции причастности парламента к телу короля, первоначально лежавшей в основе дипломатического иммунитета. И здесь тоже главное заключается не в том, чтобы защитить парламентариев от королевского произвола (особенно от заключения в тюрьму), как несколько раз повторяет Блэкстон

---

«Народ не существует, пока к нему не зывают и пока его не ищут: он должен быть сконструирован» (Rosanvallon 1998: 24).

18. Это другая, редко рассматриваемая сторона той идеи, что парламент должен быть зеркальным отражением нации. Парламент должен не только отражать устройство общества в своем составе; в парламенте нация должна также узнавать саму себя.



в «Комментариях к законам Англии» (ср.: Butzer 1991). Напротив, иммунитет и другие привилегии восходят к первоначальной функции парламента как Высокого суда (Hatschek 1905: 420–421), который, согласно средневековой конституционной теории, служил в буквальном смысле продолжением тела короля, был его «правой рукой». «Привилегия членов Высокого суда парламента, подобно привилегии членов других королевских судов, была первоначально частью системы общественного порядка и спокойствия, которой пользовались все подданные короля, а особенно те, кто находился у него на службе» (May 1957: 44, 67–85).

Таков был контекст, в котором фактически осуществлялись королевские свободы, поскольку, согласно уголовному праву, особая королевская защита распространялась также на «представителя короля» (Hatschek 1905: 651) и, следовательно, на судейство. Король лично и непосредственно присутствовал в судьях: «Его Величество всегда присутствует во всех своих судах» (Blackstone, цит. по: Leibholz 1966: 39, п. 1). Судьи «уподоблялись зеркалу, в котором появлялся образ не справедливости, но короля» (ibid.). Публичные оскорбления представителей короля были публичными оскорблениями самого короля и карались как государственная измена. В этом смысле британский Парламент является придатком короля, в то время как французский парламент является в буквальном смысле представителем народа.

Как покажет дальнейший анализ, эти принципиально разные исторические корни конституционной роли парламента объясняют и различия двух типов иммунитета. Иммунитет британских парламентариев является частью «парламентской привилегии», объявляемой в начале работы каждого

вновь избранного парламента (Hatschek 1905: 651–652; Loewenstein 1967: 269–290). Спикер выносит этот вопрос на рассмотрение короля или королевы, которые формально даруют эти привилегии, как и в том случае, когда им предлагают утвердить кандидатуру спикера (May 1957: 45–46). Монарх тем самым признает органы парламента частями своего собственного политического тела на предстоящую сессию<sup>19</sup>. «Парламентская привилегия» остается, таким образом, тесно связанной с персоной монарха, который является высшим источником закона; парламентский суверенитет — копия монаршего суверенитета (Loewenstein 1967: 61–74).

Такая конструкция немислима во Франции, где привилегия иммунитета принадлежит прямо и без всяких ограничений демократическому суверену и поэтому может быть этим сувереном отозвана. Лишить иммунитета британских парламентариев не может никто. Король легитимирует всю в целом «сессию» и полный легислативный срок (см. ниже), начиная с «созыва» парламента и заканчивая его «ропуском». Это означает, что, хотя иммунитет имеет границы во времени, он не может быть отозван после того, как был пожалован.

---

19. Парламентские привилегии опираются на обычай: сами по себе они не имеют законной силы и заново подтверждаются в начале работы каждого нового парламента. Отвечая на запрос спикера, лорд-канцлер провозглашает: «Ее Величество охотно подтверждает все права и привилегии, которые когда-либо даровались или предоставлялись палате общин Ее Величеством или любым из Ее монарших предшественников». При этом, что интересно, привилегия свободы от ареста жалуется в палате общин на срок парламентских полномочий, в то время как «персона пэра „навечно священна и неприкосновена“» (May 1957: 46).

Во Франции, как и в других странах континентальной Европы, парламентские привилегии выводятся из суверенитета народа<sup>20</sup>. В Британии иммунитет членов парламента не только не может быть отозван, но и применяется задним числом к судебным делам, решения по которым были вынесены до соответствующих выборов в парламента.

Мы видим, что в британском контексте отсутствует идея делегированной власти. Скорее, «парламентская привилегия» вырастает из осознания парламентом собственной значимости, которой депутаты обязаны королю. В сущности, парламентский суверенитет «не только неделим и безграничен, но и закреплен за парламентом и не основан, например, на делегировании народом» (Loewenstein 1967: 66). Во Франции же утверждение парла-

---

20. «Если представитель не может быть отозван, то это не представитель» (Cowans 2001: 48). Но почему, спрашивается, парламента может лишать депутата иммунитета? Почему избиратели не вправе отзываться своего депутата? Эти вопросы свидетельствуют о том, что вопрос об иммунитете, по сути дела, близок к вопросу об императивных мандатах. Согласно широко распространенной интерпретации Французской конституции, избиратели не наделены правом отзыва, потому что, будучи избранным, депутат представляет не один избирательный округ, но всю нацию. Это еще одна из метафизических мутаций, которые находятся в центре нового «рационального» порядка. Конституция 1791 г. прямо гласит: «Les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat» (Представители, избранные по департаментам, являются представителями не отдельного департамента, но всей нации; избиратели не могут давать им никаких наказов) (Brasart 1988: 56). Итак, только *nation entière* (вся нация), собранная в парламента, может принимать решения об иммунитете и отзыве отдельных депутатов.

ментского иммунитета было первым актом в процессе последовательного перехода суверенитета и святости от короля к народу. Декларация об иммунитете от 23 июня 1789 г. стала первым шагом парламента, направленным на эмансипацию от короля. В ней указывался новый демократический источник легитимности — нация и ее представительное тело, парламент. Символично, что нарушение парламентского иммунитета подлежало теперь, подобно публичному оскорблению тела короля, наказанию как акт государственной измены.

### 3.3

#### Парламентская кукла может говорить! — Вопрос о публичных дебатах

1. Сравнение парламентов Британии и Франции позволяет понять удивительное правило, из-за которого парламентские слушания в Вестминстере оставались закрытыми чуть ли не до середины XIX в. (Hatschek 1905: 418–420; Wirsching 1990; Schwarte 2005; Loewenstein 1967: 280–281; Leibholz 1966: 181; Habermas 1989; Kissler 1989; Loewenstein 1923: 105–107; Redlich 1905: 280–292). С одной стороны, в палату общин не допускались «посторонние» — запрет, который подтверждался неоднократно, от сессии к сессии, до 1875 г., и мог быть инициирован любым членом парламента, который должен был произнести для этого фразу «требую удаления посторонних (I spy strangers)». Но непубличный парламент означал также, и даже главным образом, что дебаты в палате общин не подлежали освещению в прессе. Этот принцип секретности перестал действовать в 1771 г., и не в результате изменений в законодательстве, а благодаря толерантному от-

ношению к незаконным приемам работы прессы. Вплоть до 1790 г. палата общин могла преследовать прессу, пользуясь расплывчатым определением понятия «клеветы», которое запрещало любую публикацию, «нарушавшую общественное спокойствие» (Melton 2001: 32). В 1802–1803 гг. дословное освещение дебатов в палате хотя и было разрешено, но все еще требовало санкции самого парламента. Кроме того, до 1771 г. публикации обеих палат парламента содержали лишь конспекты слушаний, как в судебных протоколах, а не записи дебатов (Hatschek 1905: 418–419)<sup>21</sup>. После 1803 г. «Хансард» (при поддержке частной компании) начал публиковать записи дебатов, которые велись в палате общин (*ibid.*), и лишь в 1840 г. Законом о парламентских документах это было разрешено другим газетам на том условии, что они будут делать это без «злого умысла». И только с 1909 г. «речи, которые ранее приводились в сокращенном виде», можно было «освещать полностью и от первого лица» (Campion 1950: 97). Наконец, в 1970 г. (!) палата общин сняла, хотя и не отменила окончательно, последние ограничения на освещение парламентских дебатов.

Эта история полностью расходится с тем, что мы читаем в современных учебных пособиях, а именно, что существует тесная (и, по мнению многих авторов, необходимая) связь между парламентским представительством и открытыми публичными слушаниями (Leibholz 1966: 177–181; Manin 1997: 167–175; Habermas 1989); и что «атипичный» британский случай, «который можно отнести на счет

---

21. Поразительным исключением были речи короля, обращенные к парламенту, а также королевские декларации и решения Тайного совета, которые публиковались в полном виде в *London Gazette* (Hanson 1967 [1936]).

особых обстоятельств», не ставит такую связь под сомнение (Leibholz 1966: 181). Вердикт Левенстайна — «элита собравшихся в Вестминстере сановников» была заинтересована в том, чтобы «не видеть отчетливо публику или своих избирателей» (Loewenstein 1967: 280), — вряд ли может служить удовлетворительным объяснением поразительного запрета на публичность. Левенстайн просто еще раз обращает наше внимание на расхождение британских порядков с конституционными тенденциями на континенте<sup>22</sup>. Факт остается фактом — в Британии парламентские дебаты, открытость которых столь важна для теории демократии, стали публичными значительно позже, чем во Франции, где принцип публичности был тесно связан с народным суверенитетом и достижениями революции.

Разумеется, английская пресса достигла в последней четверти XVIII в. высокого уровня развития: события в парламенте подробно освещались, газеты выходили большими тиражами, а цензура отличалась крайней мягкостью (Melton 2001: 27–33; ср.: Wirsching 1990: 77–85). Но речь идет не об этом. Гораздо более интересно враждебное отношение

---

22. Более убедителен аргумент Гачека (Hatschek 1905: 419, прим. 1) и Левенстайна (Loewenstein 1923: 105), согласно которому отсутствие публичной открытости в британском парламенте могло иметь целью его эмансипацию от короля. Затем это стало интерпретироваться иначе: как средство защиты членов парламента от шантажа со стороны избирателей, так что первоначально демократический центр коммуникации между народом и народным представительством (Manin 1997; Манен 2008) считался в Британии средоточием коррупции. Интересно, что во французских дискуссиях тот же аргумент использовался для доказательства обратного, а именно что публичные слушания должны служить «противоядием от мерзкой коррупции» (Heurtin 1999).

к публике, выразившееся в не-демократических правилах работы парламента. Поэтому вряд ли именно Британия может претендовать на роль страны, пример которой позволяет «понять нормативный смысл существующих [демократических. — Ф. М.] институтов» (Habermas 1992a: 450). На самом деле как раз в Британии мы встречаем недвусмысленные предупреждения насчет того, что свободное освещение парламентских дебатов способно сделать конституцию «полностью демократической» (Wirsching 1990: 84). В теоретической мысли того времени политическая система страны отвечала аристотелевскому идеалу смешанной конституции из монархии (короля), аристократии (палаты лордов) и демократии (палаты общин). Поэтому имело место опасение, что свободное освещение парламентских дебатов изменит баланс в пользу палаты общин и демократии.

2. Британский путь, таким образом, был диаметрально противоположен французскому (ср. Baker 1990; Cowans 2001; Melton 2001: 55–77). Во Франции публичный характер парламентских слушаний — отличавший уже Генеральные штаты 1789 г. — представлял собой сознательный разрыв с прежней практикой. В абсолютной монархии король был единственной публичной персоной (Baker 1990: 169–171; Melton 2001: 45–48); парламенты как совещательные институты были «публичными» только в том смысле, что подчинялись королю и участвовали в принятии его решений; их «возражения» никогда не публиковались, о них даже не ставили в известность региональные парламенты. Государственное управление оставалось *secret du roi* (Baker 1990: 170); лишь король знал «государственные тай-

ны». Генеральные штаты и особенно Национальное собрание представляли собой радикальный разрыв с этой традицией<sup>23</sup>.

«*Le Moniteur*», созданный на первом году революции и объединенный затем с «*Bulletin de l'Assemblée Nationale*», предлагал полную дословную запись парламентских дебатов начиная с августа 1789 г. и даже пытался реконструировать слушания, происходившие на майских заседаниях Генеральных штатов. «*Archives Parlementaires*» также освещали дебаты с самого начала революции. Стандартная ныне практика ведения стенографической записи речей зародилась во времена Национального собрания, когда от двенадцати до пятнадцати писарей работали по очереди две минуты каждый, а стенограмма публиковалась уже на следующий день в полуофициальном «*Journal logographique*», позднее переименованном в «*Le Logographe*» (Gardey 2005; Brasart 1988: 185–187). В Англии палата общин впервые выделила «Хансарду» средства на оплату работы стенографов этой газеты в 1878 г. (Hatschek 1905: 418–419, п. 2). Французское Собрание неоднократно отдавало распоряжения о немедленной публикации важных речей и их распространении по всей стране и в том или ином количестве экземпляров для каждого департамента. Гигантские усилия Собрания, направленные на обеспечение полной и точ-

---

23. Сессии Генеральных штатов проходили публично, в то время как *séances royales* (королевские заседания) придерживались абсолютистской практики закрытых сессий. «Порядок, приличия и сама свобода голосования требуют, чтобы Его Величество запретил, как Он и делает, любому лицу, кроме членов трех сословий, составляющих Генеральные штаты, присутствовать на их совещаниях, проводятся ли они совместно или же по отдельности» (Heurtin 1999: 21).



ной записи своих слушаний, являют разительный контраст с полным безразличием палаты общин. «В 1859 г. спикер все еще мог открыто заявить [...] что палата решила не обращать внимания на публикации своих дебатов и не делать исправлений и не устранять неточности в освещении парламентских заседаний» (Redlich 1905: 292). Издание, которое имелось в виду, «Хансард», все еще находилось в частных руках, и ни парламент, ни государство не желали брать на себя ответственность за его публикации.

Архитекторы, выдвигавшие проекты новой палаты для дебатов Национального собрания, соревновались друг с другом, предлагая как можно более вместительную галерею для публики. Жизор хотел, чтобы она вмещала 1400 человек, Виньон — чтобы их было 2500 (Schwarte 2005: 791), и, наконец, Робеспьер мечтал о галерее для 12 000 посетителей (Loewenstein 1964 [1922]: 210; Friedland 2002: 283), в то время как палата общин впервые получила галерею только после реконструкции в 1834 г. Сийес мечтал о бесконечном расширении парламента и заявлял, что освещение в прессе увеличит аудиторию, которая будет включать «всех, кто находится за спиной зрителей, всю нацию в целом» (Heurtin 1999: 48–49)<sup>24</sup>. Палата общин, с другой сто-

---

24. Пресса и издательское дело создает возможность для охвата гораздо более широкой аудитории, чем та, которая фактически присутствует на заседаниях Национального собрания. «Издательское дело служит для этого громадного пространства тем, чем служил голос оратора для публичного пространства Афин или Рима. С его помощью мысли гениального человека доходят до всего мира, можно сказать, достигают ушей всего человеческого рода» (Bredin 1988: 177). Сийес говорил в аналогичном ключе о «национальных трибунах»: «В конце концов, разве не-

роны, вопреки пожеланиям архитектора Чарльза Бэрри, была реконструирована после пожара 1834 г. в прежних размерах. Зал настолько мал, что не все парламентарии могут занять свои места одновременно, даже если они будут использовать галереи, которые обычно оставляются для дипломатов или членов верхней палаты. Во Франции правила, позволяющего «удалять посторонних», разумеется, не существует. Когда Мулле на заседании третьего сословия потребовал удалить «посторонних» на время дебатов о послании короля, это вызвало бурю протеста: «Посторонние!» — закричал один из депутатов. — «Разве такие есть среди нас? Разве честь, которую вам оказали, назвав вас депутатом, заставила вас позабыть, что они ваши братья и сестры?» (Brasart 1988: 30–31). И, комментирует Брасар, сколь бы велико ни было число тех, кто сожалел о последствиях, никто более не оспаривал принцип публичности парламентских слушаний (*ibid.*). Статья 32 Французской конституции даже гарантировала право на подачу петиций, которое могло быть реализовано в стенах самого парламента. В то время как в 1826 г. дебаты в палате общин все еще носили «приватный характер и не подлежали опубликованию» (Schwarte 2005: 790), во Франции открытость парламента была центральным моментом легитимации нового порядка.

Эти бьющие в глаза различия между Англией, с ее долгой парламентской историей, и революционной Францией лишают почвы любые попытки связать процесс развития «публики, состоящей

---

ясно, что, преодолевая необходимость собирать совпадающие воли в одном месте, я покидаю пределы античных демократических процедур и бесконечно расширяю сферу демократии и свободы?» (Heurtin 1999: 48).

из горячо дебатующих индивидуальных личностей», с формированием экономической буржуазии (Habermas 1989: 82). Во всяком случае, в той мере, в какой это касается парламентской публичной сферы, такой процесс поддается объяснению скорее в терминах конституционного, а не экономического развития. Французский принцип народного суверенитета, в отличие от британского принципа парламентского суверенитета, сталкивался с совершенно другими проблемами. В Британии цель заключалась в том, чтобы не создавать политический центр коммуникации между парламентом и обществом, представителями и представляемыми, а найти подходящее место для критического анализа деятельности правительства. Те, кто проповедовал строгий запрет на публичность в палате общин, ссылались на старую доктрину *secret du roi*: не пресса, но парламент является местом для обсуждения любых жалоб (Hanson 1967 [1936]: 2), а его слушания не должны быть публичными в силу его функции как правового института/Тайного совета.

«Недоверие к публичности» еще долго не сдавало позиций, что можно видеть на примере споров о теле- и радиотрансляции парламентских дебатов. Радиотрансляция заседаний была впервые предложена в 1920-х гг. и впервые разрешена в 1965 г., в то время как споры об освещении парламентской работы по телевидению, начавшиеся в 1965 г., не утихали вплоть до первых трансляций, осуществленных в 1989 г. (House of Commons Information Office 2003). Один из аргументов, который приводили оппоненты, состоял в том, что в результате трансляций характер дебатов в парламенте может измениться в худшую сторону, а некоторые члены парламента могут не устоять перед искушением и «обратиться ко всей публике в целом» (ibid.: 2).

Такое возражение было бы немыслимо во французском контексте, где с самого начала все было устроено так и для того, чтобы можно было «обращаться ко всей публике в целом». Далее, согласно экстравагантному «правилу четырнадцати дней», введенному цензурой во время Второй мировой войны, радио «Би-би-си» не должно было касаться вопросов повестки верхней или нижней палат на ближайшие две недели. Поскольку парламентская повестка определялась всего на неделю вперед, это, по сути дела, означало запрет на освещение любого злободневного политического вопроса. В 1955 г. правительство отреагировало на попытки изменить это правило, распространив его и на телевидение. Наконец, в разгар жарких дебатов по поводу Суэцкого кризиса срок в четырнадцать дней был увеличен до шести месяцев. Этот порядок был полностью отменен в 1957 г.<sup>25</sup>

3. Разительные отличия британской и французской концепций парламентской публичности выявляются также при сравнении роли председателя Национального собрания с ролью спикера палаты общин. Особенно важен тот факт, что речи британских депутатов все еще адресуются спикеру, а не членам палаты общин. «Это правило строго соблюдается: любое формальное обращение к палате немедленно пресекается как нарушение процедуры» (Redlich

---

25. Другие различия между публичными представлениями о самих себе палаты общин, с одной стороны, и континентальных парламентов — с другой, хотя и кажутся поначалу тривиальными, обретают в этом контексте всю полноту смысла. Лишь в 2002 г. комитет палаты общин наконец обсудил вопрос о гостевом центре и организации экскурсий под руководством опытных гидов.

1905: 402). Никому не позволено вставать или пересекать линию между спикером и депутатом, которому предоставлено слово. Аналогичное правило в Национальном собрании первоначально гласило, что депутаты должны стоять во время выступлений лицом к председателю (Brasart 1988)<sup>26</sup>. В основе этого правила лежала традиционная идея спикера как «выразителя мнения палаты» (Redlich 1905: 412) и председателя как *porte-parole*, глашатая Собрания, каждый из которых доносил волю парламента до истинного суверена, короля<sup>27</sup>.

Однако в то время как в Вестминстере правило, требующее от депутатов обращаться к спикеру, сохранилось, его французский эквивалент был отменен во время революции решением Учредительного собрания, основанным на иной концепции парламентской публичности. Речи во французском парламенте адресуются всей нации в целом, а председатель утратил прежний статус. Напротив, в британском случае церемониальный статус спикера постоянно повышался, о чем свидетельствует введение мантии, «большого парика» и скипетра, символизирующего власть палаты. У него «собственный суд, собственный цивильный лист, собственный публичный бюджет. К нему подходят и обращаются, следуя процедуре и с почтением, которое ранее выказывалось только королевскому дому» (Redlich 1905: 398). Спикер символизирует «достоинство палаты» (Kluxen 1983: 99). «Кто бу-

---

26. Брасар (Brasart 1988: 238, прим. 38) считает, что это правило было на самом деле взято из процедуры палаты общин.

27. Правило «восходит к временам, когда спикер был именно тем, о чем говорит его имя: ходатаем за палату общин, толкователем воли всей нижней палаты в целом» (Redlich 1905: 402, п. 1).

дет оспаривать, что г-н спикер — это король, в любом смысле, в каком называть его так не составляет государственной измены?» (Redlich 1905: 398). Королевская власть, постепенно узурпированная парламентом, создает для себя в фигуре спикера церемониальный образ «короля-в-парламенте». Хотя первоначальная функция спикера заключалась в том, чтобы доносить до короля волю парламента, он постепенно превратился в фигуру, которой, собственно, и адресуется отчетливо артикулированная воля палаты общин<sup>28</sup>.

Все это продолжает нести на себе черты суда общей юрисдикции, где стороны произносят речи и ответные речи, выступают, обращаясь к судье (как прежде к королю), с «заявлениями» и «обвинениями», и где спикер должен следить, посредством строгого соблюдения правил, чтобы «процесс определения воли парламента соответствовал закону» (Kluxen 1983: 100). Публичный характер парламентских слушаний не играет здесь центральной роли. Публикация речей в палате общин затрудняется тем, что не составляется никаких списков депутатов, желающих принимать участие в дебатах. Спикер может — по крайней мере, формально — выбрать для выступления любого, кого пожелает, поэтому депутаты обычно не сочиняют речей заранее, а выражают свои взгляды экспромтом. Однако, хотя противостояние правительства и оппозиции кажет-

---

28. Еще одной важной деталью в этом контексте является то, что до 1965 г. королева в лице представлявшего ее лорда-обергофмейстера имела право как «домовладелица» не впускать никого в помещение палаты общин. В 1965 г. это право было передано парламентскому приставу, да и то только на период парламентских сессий. В остальное время власть над зданием принадлежит лорду-обергофмейстеру (May 1957: 232–233).

ся «вечным судебным процессом», «лежащая в его основе концепция закона и политики [...] не совместима с децизионистской теорией суверенитета, согласно которой закон есть всегда акт воли со стороны суверена» (Kluxe 1983: 110). С английской точки зрения, «формирование единой воли при принятии политических решений невозможно» и даже нежелательно; кроме того, «воля народа» не может «воплощаться в парламентском большинстве» (ibid.). В радикально иной французской концепции все основано именно на возможности порождения единой воли, на воплощении воли народа в парламентском большинстве.

Таким образом, функции британского спикера и французского председателя Собрания развивались в совершенно разных направлениях. Последний все больше терял власть и статус (ср.: Castaldo 1992: 179–195), в то время как первый приобретал все больший «представительный» вес. Во французском случае мелкое, но необычайно значимое изменение произошло, когда Собрание переместилось в бывший Зал машин во дворце Тюильри (см. гл. 2). Трибуна там более не находилась напротив председателя, как в Зале малых забав или в Манеже; председатель сидел теперь позади трибуны и над ней, и поэтому выступавший депутат уже не мог обращаться именно к нему. «Новое пространственное расположение порывало с традицией прежних лет — впервые выступавший не стоял лицом к председателю» (Morin 1998: 29). Речи в парламенте получили другого адресата. Теперь это была «публика», представленная собравшимися депутатами, но охватывавшая, за пределами зала, всю нацию, к которой можно было обращаться через прессу, а со временем — с помощью радио и телевидения.

4. С учетом вышесказанного, не Британия, а Франция является страной, на примере которой следует изучать формирование современной политической публики. Кит Бейкер в своем критическом анализе развиваемой Хабермасом концепции публичной сферы подчеркивает, что публичная сфера должна пониматься как политическая, а не социологическая или социально-экономическая категория (Baker 1992: 192). В новой концепции демократического народного суверенитета «публичность» была абсолютно необходима, а парламент в конечном счете играл роль *porte-parole*, или «глашатая» суверенного народа. В Британии, с другой стороны, парламент обладал конституционным статусом королевского совета и суда, а также выполнял политическую функцию, обязывая монарха «соблюдать конституционный порядок»; это был институциональный гарант баланса между королевской властью и «важнейшими экономико-политическими слоями в государстве» (Loewenstein 1923: 87). Ни одна из этих функций не подразумевала, как во Франции, что парламентские слушания должны быть публичными.

В 1787 г., после многочисленных требований созвать Генеральные штаты, монархический режим во Франции, проводя тонкую телесную аналогию, заявил, что парламент способствует не формированию единой политической воли, а столкновению различных интересов. Кто или что может гарантировать, что пятьсот или шестьсот представителей придут к согласию в чем бы то ни было? Такой вопрос не вставал в случае монаршего суверена, который (как утверждали не вполне корректно с анатомической точки зрения) «по необходимости имел только один глаз, одно ухо, один рот» (Abbé Nicolas Baudeau 1787, цит. по: Rosanvallon 1992: 208). Парламентское собрание, имеющее сотни глаз, ушей



и ртов, привело бы к хаосу и разладу, а не к единой политической воле (*ibid.*).

Теоретики, поддерживавшие новый демократический порядок, использовали те же самые телесные метафоры. Парламентская кафедра — уста, благодаря которым слышен глас народа, а народ, «который не может говорить или действовать, кроме как через своих представителей (*qui ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants*)» (Sieyès, цит. по: Loewenstein 1964 [1922]: 207, n. 94), впервые услышал благодаря этому собственный голос. Вместе с Французской революцией на свет появились существенно важные принцип парламентской публичности и центр (*nexus*) демократической коммуникации; благодаря им цепочка делегирования от избирателей через представителей к правительству была дополнена цепочкой коммуникации от парламента назад к электорату. Трибуна Национального собрания стала «разверстыми устами человеческого духа» (Juilliard 1996: 462), а парламент — отражением голоса правящего народа, «верным эхом народных голосов» (Pitkin 1967: 61), хотя членораздельными эти голоса становились исключительно с помощью депутатов. Парламент служил рупором, из которого исходили глас народа и шепот Бога: «Конвент склонялся под ветром, но ветер этот исходил от тысячеустого дыхания народа и был дыханием Божиим» (Victor Hugo, *Quatre-vingt treize*, цит. по: Starobinski 1995: 464).

Глас народа слышен прямо и непосредственно во время выборов, которые определяют состав парламента. В парламенте глас народа звучит опосредованно, через избранных представителей; им поручено говорить от имени народа и обращаясь к народу до тех пор, пока следующие выборы не решат, кто будет говорить за народ в будущем, кто

скажет то, что тот желает услышать. «Именно благодаря речи эмпирический народ становится народом как источником суверенитета» (Heurtin 2005: 768). В таком контексте публичность существенна, а непубличность невысказима. Ибо только в парламенте становится слышен голос народа, политического суверена в демократии: «национальная воля — как будто она могла быть чем-то иным, а не волей представителей нации, как будто нация могла говорить как-то иначе, а не через своих представителей» (Sieyès, цит. по: Loewenstein 1964 [1922]: 206, п. 93). В этом голосе политического тела и через него конституируется единство физического тела народа. Поэтому голос должен быть публичным и звучать громко и отчетливо.

### 3.4

#### «Узнаваемый портрет населения» — парламентская пропорциональность

1. Мысль о том, что парламент является единственным истинным образом народа и должен таковым оставаться, появилась задолго до Французской революции, однако окончательно упрочилась только после событий 1789 г. Сам аргумент приводился в целом ряде сочинений английской «парламентской фракции», противостоявшей в 1640-х гг. Карлу I (Skinner 2005). В них мы находим развитую, современно звучащую теорию, главная идея которой гласит: «Палата общин избирается народом и представляет народ» (эта и последующие цит.: Skinner 2005; данная цит. р. 162). Представительство, таким образом, мыслилось (во многом так же, как сегодня) в политическом плане как выборная власть (authority), уполномоченная представлять других

и опирающаяся на легитимное осуществление политического правления над теми, кто добровольно дал на это свое согласие посредством акта голосования. В качестве представителей народа, который их избрал, члены парламента наделены властью (*power*) действовать (официально), — властью, которая реально и изначально принадлежит народу, «пробывает в народе». Парламент действует от имени народа, и, следовательно, дело обстоит так, «как если бы» действовал сам народ.

На этом фундаменте в полемических сочинениях, занимавших сторону парламента, строились также теории подобия (*homology*) между парламентом и народом. Подобие должно было существовать, или к нему следовало стремиться, чтобы парламент служил настоящим представительным образом *demos*'а. Метафоры образа и портрета понимались в данном случае буквально. Парламент был «картиной или портретом тела народа»; он представлял «реальное тело народа», «все в целом тело государства». Приводили, конечно, и хорошо известный аргумент, гласивший, что собрание всего народа физически невозможно (*difficultas conveniendi*). Но ему давалась интересная интерпретация: «Реальное тело народа слишком громоздко и беспорядочно в своих движениях, чтобы действовать самостоятельно». Парламентский образ истинного политического суверена казался даже более совершенным по своему уму и внешнему виду. Мы можем заметить здесь двойной смысл «represent»: искусство парламентского портрета предполагает не просто изображение, но и облагораживание. Парламент должен служить не только портретом политического тела, но и отражать «сущность всего в целом общественного тела». По сути дела, парламентское представительство понимается здесь как

«произведение искусства», а о парламенте говорится как об «изумительном составе». Важнейшим механизмом облагораживания в этой политической репрезентации тела народа служат демократические выборы. «Процесс выборов позволяет грубой массе всеобщности преобразовать себя именно таким искусственным, или искусным, способом» — по-видимому, прибегая к имущественному цензу.

Эта теория представительства, для которой парламент есть своего рода микрокосм общества, возродилась полтора века спустя во французской и американской революциях. Мы вновь встречаемся с метафорами портрета и куклы. Согласно Джону Адамсу, законодательное собрание «должно быть точным портретом в миниатюре всего народа в целом, ибо оно должно мыслить, чувствовать, рассуждать и действовать подобно ему» (Pitkin 1967: 60). Пуанкаре говорит о «парламентской миниатюре» как точной копии суверенного народа. Парламент должен быть «самым точным дубликатом всего общества в целом» (Pitkin 1967: 61). Или, в другой формулировке: «Парламент должен отражать всю анатомию общества» (Rosanvallon 1998: 22). Для Блюнчли законодательное тело — «конденсация составных частей народа, а также народа как целого согласно их действительным отношениям» (Pitkin 1967: 62).

Это, естественно, ставит вопрос о технике политического портрета. Демократические выборы выступают как надежное средство создания пропорционального портрета. Если они свободны и справедливы, то парламент имеет «характерные черты общества» (Rosanvallon 1998: 22). Даже если всеобщее избирательное право непосредственно не сопровождало революцию, в новых рамках легитимности Французской республики избиратель-

ные ограничения и систематические искажения в процессе голосования не имели никакого оправдания: «Бремя доказательства своей правоты лежало на тех, кто отказывал другим в политических правах» (Koselleck 2006: 447). С точки зрения Мирабо, чтобы парламент мог быть уменьшенной копией *demos*'а, он должен был служить в отношении нации «тем, чем должна быть карта в отношении соответствующей территории; маленькая она или большая, копия всегда должна иметь те же пропорции, что и оригинал» (ibid.). Подобно этому Сийес подчеркивает значение «точного соответствия» и «истинной пропорции» как главных принципов парламентского представительства, гарантирующих подобие физического тела и тела политического (ср.: Ваеске 1997). Демократические выборы предлагают механизм пропорционального представительства: 20 миллионов голосов переводятся без искажений в 600 депутатов. Принцип «один человек, один голос», лежащий в основе демократии, является, с этой точки зрения, не только политическим признанием равных, неотъемлемых и всеобщих прав человека, но также, или даже главным образом, статистической гарантией того, что голоса будут переведены в парламентские места без огрехов. Избирательные ограничения, затрагивающие большие группы населения, привели бы к серьезным деформациям в парламентском портрете политического суверена.

2. Искажения, внутренне присущие мажоритарной электоральной системе «относительного большинства», хорошо известны. Однако в Британии в них долгое время не видели ничего крамольного; не считалось таковым и массовое взвешивание

голосов, возникавшее из-за того, что избирательные округа отличались друг от друга по количеству проживавшего в них населения. Но почему же в этом не видели проблемы? Ведь при этом, особенно во Франции (на ум приходят Борда, Лаплас или Кондорсе), велась серьезная научная дискуссия о том, как добиться точного представительства народа в парламенте; система выборов и избирательное законодательство были предметом продолжительных дискуссий уже во время Французской революции (Gueniffey 1993; Crook 2002). В Британии же перекосы, к которым приводила система «относительного большинства», не считались проблемой вплоть до середины XIX в. Не существовало и сколько-нибудь подробного обсуждения закона о выборах, пока вопрос о пропорциональности не был поднят в 1857 г. в книге Томаса Хейра «Механизм представительства», хотя это ни на что и не повлияло (McClaren Carstairs 1980: 175ff., 189ff.; Rosanvallon 1992; Hart 2001 [1992]). Ближайшим поводом для ее публикации стали не искажения, к которым приводила система «относительного большинства», а опыт парламентских выборов 1855 г., когда традиционные практики не смогли произвести эффективной селекции и многие хорошо известные и способные парламентарии не были переизбраны (Hart 2001 [1992]: 25–26; McClaren Carstairs 1980: 193–194). Соответственно, в английских дискуссиях о главных функциях парламента — примечательнее всего в лице Бэджета — на первом месте все еще стояли вопросы формирования и поддержки правительства, а не представительства отсутствующего народа, то, «каким должен быть состав парламента, чтобы они функционировали оптимально и отдавали должное всем общественным ”интересам”» (Koselleck 2006: 447). Напротив, во Франции при принятии электро-

рального закона обсуждали, главным образом, каким образом добиться оптимальной копии нового суверена, а вопрос о праве на голосование связывался с принадлежностью к нации. В Британии обсуждение начиналось с *материальных последствий* демократических выборов, во Франции — с их *нормативных предпосылок*.

Тот факт, что в Британии система «относительного большинства» и электоральная «непропорциональность» (и то и другое были серьезными отклонениями от демократического принципа равенства) не считались серьезной проблемой, объясняется британской конституцией, в которой представительство общественных интересов возложено одновременно на короля, нижнюю палату и верхнюю палату. Предполагается, что именно их совместное действие, а не действие одного лишь парламентского представительства, обеспечивает должное внимание ко всем общественным интересам: «Делегированная народная власть [воплощена] во всех существующих органах государственной власти — в «короле, палате лордов и палате общин» (Sternberger 1967: 540).

Для сторонников парламентской конституции было не столь важно, пропорционально или нет количество мандатов количеству населения, проживавшего в избирательных округах. Количество жителей в каждом регионе не обязательно должно было отражаться на составе парламента. Пока главные общественные силы («интересы») имели в парламенте соответствующий вес, терпимым считалось даже крайнее неравенство регионов (Koselleck 2006: 440).

В этом контексте консерваторы оспаривали роль выборов, ставя под сомнение идею народа как ис-

тинной *pouvoir constituant*, которая легитимирует парламент извне и адекватно в нем представлена. «Нет народа вне конституции, и нет „воли народа“ над конституцией» (ibid.: 541) — формула, в которой под «конституцией» имеются в виду одновременно король, палата лордов и палата общин. Формула «народ-в-парламенте», которую теоретики парламентского представительства выдвинули по аналогии с формулой «король-в-парламенте», подверглась ожесточенной критике. Для консерваторов не существовало «народа, присутствующего или представленного в парламенте, поскольку парламент был собранием лордов и общин, и ничем более» (Sternberger 1967: 529). Штернбергер подводит краткий итог: «Палата общин не представляет никого, кроме самой себя [...], и не должна сводиться к рупору кого бы то ни было. Не следует возводить ее присутствие и к внешней конституирующей власти или к власти народа» (ibid.).

Под конец XVIII в., когда идеи Французской революции дошли до Британских островов, появились две принципиально различные и противостоявшие друг другу концепции. На судебном процессе против Томаса Харди в 1794 г., который был обвинен в государственной измене, в качестве главного довода выдвигалось то, что он и его сторонники замыслили переворот и установление на месте существующего порядка режима «представительного правления» (Sternberger 1967: 527). Конституционный строй из короля и парламента — в котором последний означал «великий совет нации, собрание лордов в парламенте и собрание общин в парламенте» (Ibid.: 528), — предполагалось заменить «законодательным телом» в соответствии с «принципами всеобщего избирательного права и ежегодно обновляемого представительства». Государственный об-



винитель справедливо посчитал эти планы революционными. Сторонники традиционного взгляда на конституцию прекрасно понимали, что принцип представительства народа, доведенный до логического конца, означал «отмену короля и палаты лордов или их устранение из правительства» (ibid.: 528). Именно это имел в виду Эдмунд Бёрк, когда писал, что палата лордов окажется «незаконнорожденной и с гнилой кровью» (ibid.: 531). Гоббс также считал это чудовищной перспективой, дискредитирующей саму идею о том, что палата общин должна одна представлять все королевство в целом. Ибо если король и палата лордов не аннулируются (чего не смела предлагать даже парламентская фракция), любое отстаивание принципа представительства (понятого как представительство народа — главной политической сущности) означает, что «король является лицом народа, и общее собрание также является лицом народа, а другое собрание [палата лордов. — Ф.М.] является лицом части народа» (Hobbes, цит. по: Skinner 2005: 176). Согласно Гоббсу, разнородное представительство политического сообщества, с его пересекающимися и конкурирующими притязаниями на правление, является надежным рецептом хаоса и гражданской войны, поскольку разрушает единство представительства. «Ибо единство лица обуславливается единством представителя, а не единством представляемых» («Левиафан», гл. XVI)<sup>29</sup>.

---

29. С одной стороны, понятно, что централизация политической власти во времена французского абсолютизма стала важной предпосылкой для последующей централизации политической власти во французском парламенте, или, точнее, для *идеи* централизации всей власти в парламенте (поскольку с 1789 г. верховенство парламента было скорее исключением, чем правилом, а нынешняя политиче-

## 3.5

*Le parlement ne meurt jamais?*  
 (Парламент не умирает никогда?)  
 Парламентская прерывность

1. Гильотинирование, ставшее во время Французской революции стандартным методом казни, вызвало в 1795 г. научно-медицинский спор (мы следуем кн.: Arasse 1989: 35–47). Наступает ли смерть мгновенно, или же отрубленная голова остается какое-то время в сознании; и «сохраняются ли на некоторое время в отделенной от тела голове при этом виде казни эмоции, личность и сознание своего Я, а также чувство боли в области шеи?» (Soemmering, цит. по: Arasse 1989: 38). Сторонники «тезиса о сохранении» доказывали, что, поскольку центром ощущения является мозг, способность к ощущению сохраняется еще минут пятнадцать, даже если приток крови к мозгу недостаточен или его нет вовсе. Отсутствие же каких-либо звуков, исходящих от отрубленной головы после того, как она оказывается в корзине, объясняется просто-напросто тем, что легкие более не доставляют воздух к гортани (см. рис. 10).

---

ская система Франции — не чисто парламентская, но с элементами президентского правления). С другой стороны, понятно, насколько сильно конституционные институты Британии ограничивали сферу возможных конституционных теорий. Проще говоря, сравнение Франции и Британии показывает как идеальные, так и материальные теории политической конституции. Государственные институты могут следовать теориям конституционного порядка, как во Франции, или же теории могут «выводиться» из институтов, как в Англии. Во Франции абсолютистские институты проложили путь унитарным идеям конституционного порядка, в то время как в Англии политические институты ограничивали развитие таких идей.

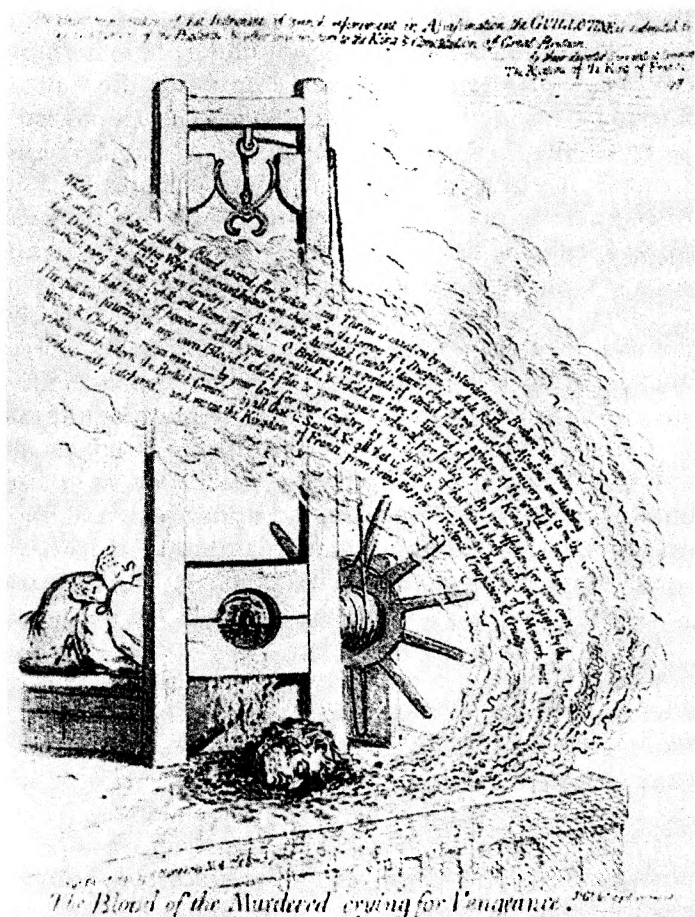


РИС. 10. Кровь убиенного взывает к мести  
источник: Suhrkamp Verlag picture archive

Мысль о том, что отрубленные головы чувствуют боль какое-то время после смерти, была чудовищной, кошмарной фантазией о «сознании [человеком] собственной смерти» (Arasse 1989: 39).

Выходило, что гильотина — не рациональный и эгалитарный инструмент современной просвещенной смерти, а машина из ночных кошмаров. Ее «чудовищным продуктом» была «голова, которая может мыслить без тела, но мыслить [...] только одну мысль: „Я мыслю, но не существую“» (ibid.).

В дискуссиях о сохранении сознания нетрудно увидеть две противостоявшие друг другу медицинские позиции: роялистскую и республиканскую. Согласно роялистской теории, в человеке действуют три жизненные силы — моральная, интеллектуальная и животная, каждая со своим физическим местоположением, которые «достигают единства в голове» (ibid.: 45). С другой стороны, согласно «республиканской» теории, опиравшейся на новые знания о кровообращении, по всему телу распространена только одна жизненная сила: «Самость присутствует только в целом» (ibid.: 43). В то время как роялистская позиция соглашалась с «чудовищной идеей» об опыте смерти, республиканская позиция ее опровергала: действие резака гильотины, с ее точки зрения, вызывало мгновенный эффект, окончательный и необратимый. В этой интерпретации монархия умерла 21 января 1793 г. Тем не менее солдаты, перекрывавшие путь к эшафоту, были объаты страхом: вдруг «отрубленная голова короля все же начнет говорить, а король никогда не умирает» (Sennett 1994: 303).

Как мы видели, роялистская точка зрения предполагала идею системы, в которой король как верховный глава политического тела обеспечивал единство нации, состоящей из трех сословий. Республиканская позиция, с другой стороны, делала акцент на корпоральной целостности, единой циркуляции, протекающей равным образом через все части тела и поддерживающей в них жизнь. Те-

зис о том, что голова продолжает жить после от- деления от тела, представлял собой, таким обра- зом, двойной вызов новой республике. Во-первых, он подрывал репутацию продвигавшейся Просве- щением гильотины как изобретенной революцией новой и рациональной машины смерти. Получа- лось, что вместо свободного от ритуалов прогресса, который, как считалось, представляла собой *rasoir national* (национальная бритва) в отличие от ме- тодов зрелищной казни *ancien régime* (Dülmen 1990; Foucault 1980), революционный культ Разума обер- нулся кошмаром неслышно кричащих голов смерти. Во-вторых, строгая корпоральная иерархия, лежав- шая в основе тезиса о сохранении сознания, означа- ла, что голова способна пережить смерть тела, но не наоборот. Итак, мог ли вообще выжить новый, ли- шенный головы (headless), или лишенный короля (kingless), порядок? Не был ли он просто незакон- норожденным уродцем? Могла ли столь «славная иерархия», как государство, «быть безголовой, как если бы она была чудовищем» (цит. в вольном из- ложении по: Bagliani 1997: 146)? Многих целиком и полностью убеждал роялистский аргумент, гла- сивший, что власть правительства «требуется, если она хочет, чтобы ее серьезно воспринимали и при- знавали, прочной ассоциации с персоной, а не с пе- стуемым революцией безголовым образом» (Cowans 2001: 117; цит. по: Gauchet 1995: 16). При этом демо- кратия считалась «правительством без головы» (ср.: Francesco 1992). Про нее говорили, что она прене- брегает фундаментальным законом власти, согласо- ванному государству «должно быть персона- фицировано, прежде чем его можно увидеть; сим- волизировано, прежде чем его можно полюбить; представлено в воображении, прежде чем его мож- но постичь» (Walzer 1967: 194; ср.: Kertzer 2003: 369).

В «Комментариях к законам Англии» Блэкстона мы находим резюме предсовременного понятия временного характера парламентского правления. Парламент, разъясняет он, может быть легитимирован только посредством короля, и поэтому его временная структура связана с телом короля. Особенно интересно проводимое Блэкстоном различие между «светской (civil)» и «природной (natural)» смертью парламента. Светская смерть наступает автоматически — либо в конце предписанного законом легислативного срока, либо в результате королевского указа о роспуске: «Роспуск является светской смертью парламента». «Природная смерть» парламента, с другой стороны, совпадает с природной смертью короля; поскольку «по закону он глава парламента (*caput, principium et finis* — глава, начало и конец)», его смерть означает, что «всему телу наступает конец». Парламент, таким образом, был легитимен благодаря королю и понимался как часть политического тела, головой которого был монарх (см.: Friedland 2002; Manow 2004). Поэтому парламентский цикл был тесно связан с королем.

Положение об автоматическом роспуске британского парламента в течение шести месяцев после смерти монарха было отменено в 1867 г. Актом о народном представительстве (Веуме 1970: 854). На практике его в последний раз применили в 1837 г., когда трон перешел от Вильгельма IV к королеве Виктории. Однако вплоть до XX в. сохранялся порядок, согласно которому правительство должно было уходить в отставку, или, по крайней мере, подавать в отставку, в случае изменений на троне<sup>30</sup>. Сегодня смерть короля или короле-

---

30. В XIX в. вошло в обычай правило, согласно которому министры после смерти монарха должны подавать в отставку,

вы все еще влечет за собой перенос на две недели даты выборов в том случае, если она приходится на период между прекращением полномочий старого парламента и избранием нового (Gay and Randall 2001: 7). Если монарх умирает, когда законодательный срок еще не истек, а парламента находится на каникулах, его немедленно созывают, чтобы парламентарии могли быть приведены к присяге новым королем. Это также говорит о том, что легитимность парламента и, следовательно, его временная структура тесно связаны с персоной короля.

2. В *ancien régime* во Франции реальный разрыв непрерывности в способе политической легитимации был ознаменован неестественной (unnatural, неприродной) смертью короля. Смерть этого тела привела с необходимостью к новому телу<sup>31</sup>: «насилственная кончина старой монархии» шла рука об руку с «установлением новой, чисто демократической телесности» (Traeger 1986: 187). Эдмунд Бёрк также интерпретировал Французскую революцию как смену политического тела. Казнив Людовика XVI, революционная Франция обзавелась новым телом, «обновленным в своих новых органах

---

а новый король или королева не должны ее принимать (Weume 1970: 720–723). В 1837 г., когда трон заняла королева Виктория, о смене кабинета не было и речи; «прошение правительства об отставке было подано исключительно ради соблюдения протокола».

31. Идея национального суверенитета заполнила брешь, образовавшуюся со смертью монаршего суверена: «Из всего множества глубоких перемен, которые вызвала Французская революция, ни одно не имело более широких и долговременных последствий, чем переход от монаршего суверенитета к суверенитету национальному» (Cowans 2001: 27).

свежими силами юной жизнедеятельности» (Burke 1955: 163). Уничтожение тела короля требовало его искусственной замены. Парламент — национальное представительство народа, действующее подобно «искусственному человеку» (Гоббс), — очистил смерть монарха от ее ужасов. Или, иначе говоря, казнь короля стала казаться возможной и необходимой благодаря самопровозглашению революционного парламента как искусственной копии правителя. Благодаря постулату парламентской неприкосновенности (см. выше, раздел 3.2) «прикосновенность» королевского тела вступила в царство мыслимого. Парламент как эффигия правителя стал временным управляющим для нового политического суверена. Не король, а народ выступал теперь легитимирующей инстанцией для этой политической куклы.

Революционное высокомерие 1789 г. с его притязанием на создание нового человека было не просто выражением хорошо известных социальных утопий. Революционеры хотели не просто фабриковать новых индивидов, но и творить и регулярно обновлять новое коллективное политическое тело. Гоббсов призыв «Сотворим человека!» был воспринят ими всерьез. После смерти короля они собрали разрозненные части тела французской политики и соединили их вновь в соответствии с проектом «искусственного человека». Для таких консерваторов, как Бёрк, новая форма правления была чудовищем, порождением политической спеси, отвратительным ассамбляжем из частей тела казненной монархии: «Из могилы загубленной монархии во Франции поднялся огромный, страшный, бесформенный призрак, и облик его был ужаснее всего, что ранее потрясло воображение» (Burke, цит. по: Baldick 1990: 19). Этим обреченным на неуда-



чу и крах политическим монстром, который рано или поздно восстанет против своих творцов, является революционная Франция, «государство-чудовище», «чудовищное соединение», «мать всех монстров» (Burke 1884, vol. 5, цит. по: Baldick 1990: 19). Франция — эквивалент Франкенштейна<sup>32</sup>.

Однако «не только монархи умирают, но вымирают также целые собрания» (Hobbes, *Leviathan* XIX, 14). Как в монархии, так и в искусственно созданном политическом теле, таком как собрание, во весь рост вставала проблема наследования.

Подобно тому как были приняты меры к созданию искусственного человека, были приняты также меры к созданию искусственной вечности жизни, без которой люди, управляемые собранием, возвращались бы к состоянию войны через каждое поколение, а люди, управляемые одним человеком, — сразу по смерти их правителя. Эта искусственная вечность есть то, что люди называют правом наследования (Hobbes, *Leviathan* XIX, 14).

Демократическое наследование происходило теперь через «искусственную смерть» парламента и периодическое проведение новых выборов, «перерезающих жизненную нить» народного представительства (Loewenstein 1967: 200). Регулярные выборы позволяют осуществлять ритуальную казнь парламента и оживляют в памяти первородное преступление, совершенное в январе 1793 г., благодаря которому на свет появилась современная

---

32. Франкенштейна поэтому следует поставить в один ряд с политическими составными телами, ведущими свою родословную от фронтисписа «Левиафана» Томаса Гоббса. См. исключительно интересный анализ в кн.: Bredekamp 2001 и 2003.

демократия. Регулярное «возрождение [...] сохраняет в памяти образы обезглавленной монархии» (Traeger 1986: 195–196). Демократические выборы являются казнью политического тела, сублимированной и цивилизованной в форме ритуала. Поэтому прерывность в работе парламента возникает при каждом новых выборах, разрывающих легислативный процесс с помощью чисто символического акта, в котором нет никакой функциональной нужды<sup>33</sup>.

Демократическим механизмом считалась и сама гильотина. Благодаря Французской революции безболезненный метод казни, предназначавшийся главным образом для знати, был распространен на все классы (*la grande égalisatrice*, великая уравнительница, см.: Foucault 1975). К смертному приговору, таким образом, было применено важнейшее требование, которое третье сословие выдвигало в отношении закона о выборах: «голосование должно проводиться через подсчет голов, а не по условиям» (Sieyès 2003b: 103–104). Однако уравнительная сила гильотины заключалась не только в ее всеобщем применении, но также в объединяющем, «очищающем» действии, которое она оказывала на политическое тело народа: «Какое искушение — увидеть в корзине, в которую собирали отрубленные головы, урну для голосования, как бы ведущую

---

33. Принцип материальной прерывности гласит, что законопроект, не дошедший до голосования в течение одного парламентского срока, должен быть вновь и «с нуля» представлен во время следующего срока. Трудно найти сколько-нибудь серьезное оправдание этому правилу: новое правительство могло бы просто решить не рассматривать билль, а старое парламентское большинство в случае своего переизбрания — начать слушания с того момента, на котором их пришлось прервать.

учет негативных голосов общей воли. [...] Корзина является зеркальным отображением выборов и собирает одно за другим меньшинство из индивидуальных волений, которые отделили себя от единой общей воли. Гильотина зримо подтверждала, проводя свою демократическую операцию, наводившее ужас всемогущество всеобщего избирательного права» (Agasse 1989: 83).

Посредством гильотины демократическое тело народа освобождает себя от всего нечистого; «национальное представительство становится чище» с каждым новым днем террора (Camille Desmoulins, цит. по: Goldhammer 2005: 62). Гильотина служит инструментом политической евгеники. Террор — предвкушение великих проектов коллективного очищения XX века, в соответствии с которыми национал-народные тела стремились к этнической, политической или религиозной однородности.

Уравнивающая власть гильотины расчистила путь демократии, демонстрируя «подсчет по головам», который должен был стать новым принципом принятия решений. Правит тот, кто собрал больше голов, — интерпретация, предложенная злой сатирой того времени под названием «Правительство Робеспьера» (см. рис. 11).

В наши дни выборы функционируют подобно революционной гильотине. Урна для голосования демонстрирует вызывающую ужас власть большинства; это корзина, в которую падает отрубленная голова демократического тела.

Персонификация политического правления в теле короля имела важное последствие: «благодаря ей старый режим стал убиваемым» (Walzer 1974: 13) — по крайней мере, в том случае, когда убийство короля как публичной политической персоны производилось силой, апеллировавшей к фун-

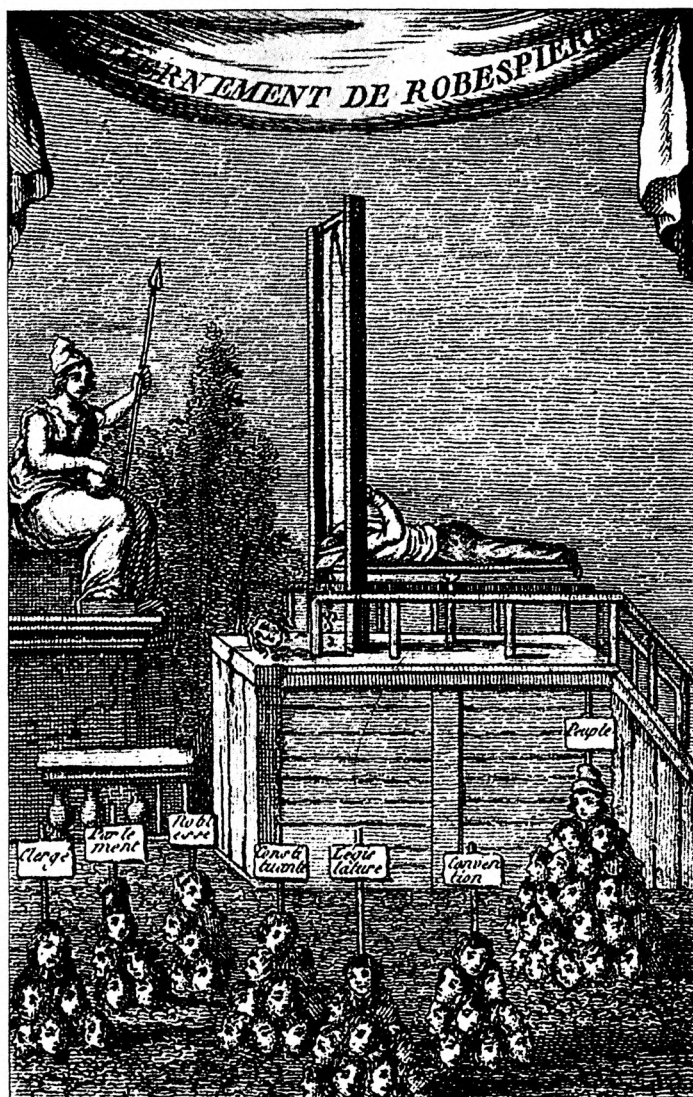


РИС. 11. Правительство Робеспьера  
источник: Art media/Heritage-Images

даментально иному источнику легитимности (как палата общин в 1649 г. или Национальное собрание в 1793 г.), а не когда цареубийство становилось результатом династической борьбы за трон. Стремясь подчеркнуть радикальный разрыв со старым режимом, Оливер Кромвель заявлял в отношении Карла I: «Говорю вам, мы отрубим ему голову вместе с короной» (Walzer 1974: 4).

В *ancien régime* изображение усопшего правителя было символом перехода политического тела от одного короля к другому: «Изображение обозначало и демонстрировало то, что обычно не было видно: политическое тело короля, которое не умирает никогда» (Chartier 1990: 180). Подобно тому как смерть монарха вызывала кризис, но при этом создавала возможность для демонстрации его политического тела, так и парламент, видимое политическое тело при новом демократическом порядке, должен время от времени умирать, чтобы обозначать и демонстрировать то, что обычно не видно: бессмертное правящее тело демократии, *demos*. Если в условиях монархии политическое тело короля было воплощаемой сущностью, требующей для подтверждения своего присутствия множества ритуальных действий, то теперь *corpus politicum* стал видимым коллективным *corpus physicum* — парламентом. «Реальное», «физическое» тело народа, истинного держателя (holder) политического суверенитета, должно было мыслиться как *corpus mysticum* и щедро демонстрироваться. Можно даже сказать, что периодические выборы были нужны для того, чтобы это тело могло призываться к существованию. Характеристика голосования как «почти священного момента», принадлежащая Элиасу Канетти («священны запечатанные урны, содержащие заполненные бюллетени, священен процесс подсчета голо-

сов»), вскрывает его более глубокий смысл в этом контексте (Canetti 1984: 222; Канетти 1997: 207).

В демократии, однако, притязание на бессмертие не должно подтверждаться щедрыми расходами на ритуал, поскольку «физическое тело» нового суверена, народа, несомненно бессмертно благодаря нескончаемой череде сменяющих друг друга поколений. Для *ancien régime* это было источником постоянного беспокойства, а французские антимонархисты не уставали доказывать, что, в отличие от тела короля, тело народа действительно вечно: «Народ не умирает, в то время как короли один за другим покидают сей мир. [...] Как непрекращающееся течение делает реку подобной вечности, непрерывная череда рождений и смертей делает народ бессмертным» (*Vindicae contra tyrannos* 1579, цит. по: Rosanvallon 1992: 28).

Голосование выставляет напоказ обычно невидимое тело демократического правления — народ. Выборы и избирательные кампании — праздники, ломающие ежедневную рутину представительства. Но в тот самый момент, когда истинное политическое тело себя показывает, искусственное тело исчезает: «Когда суверенный народ собирается вместе, представительная власть (*authority*) автоматически заканчивается» (Cowans 2001: 96). Когда обычно «невидимое» бытие становится видимым, потребность в его визуализации отпадает. Демократические выборы знаменуют собой преобразование власти. Власть возвращается к народу на время перехода, который является поэтому периодом бесформенности, «антиструктуры» (Turner 1969), электорального карнавала и ритуальной анархии. Во время демократической передачи власти (политическое) общество становится неструктурированным сообществом; те, кто находился у власти

прежде, и те, кто стремится ее получить, находятся в равном положении. Посредством выборов бесформенный народ создает для себя новое временное воплощение. В ритуале этой переходной фазы принцип прерывности гарантирует, что политическое тело теряет все свойства, всякий статус, всю свою индивидуальную историю. Принцип прерывности, таким образом, подразумевает ритуал политического очищения<sup>34</sup>. Он обеспечивает отторжение прежней (более не существующей) конфигурации власти в период, когда новая конфигурация еще не установлена.

3. Парламенты суть временные проявления, проходящие воплощения истинного носителя власти в демократии. В них народ на какое-то время подтверждает свое существование и рисует собственный схематический портрет; власть представлять народ регулярно истекает и должна возобновляться посредством выборов, этих манифестаций вечного *demos*'а<sup>35</sup>. Парламентская прерывность имеет решающее значение как в персональном, так и в материальном смысле. В том, что касается персонального аспекта, прерывность может осуществляться по-разному; общеизвестный способ — про-

---

34. Моя интерпретация ритуальной функции выборов основывается на работе Тернера (Turner 1969; Тернер 1983), хотя на это и не указывается в отдельных ссылках.

35. «Представительное правление невозможно понять, не сказав о роли времени» (Manin 1997: 176; Манен 2008: 220). Хотя Линц (Linz 1998) ставит своей целью рассмотрение всех важных измерений «времени в демократии», он, как это ни удивительно, не считает нужным обсуждать ни принцип прерывности, ни контроль над парламентской повесткой дня. См.: Döring 1995b.

ведение новых выборов всего парламента каждые четыре года или пять лет — не является при этом единственным.

Альтернативная модель первоначально обсуждалась и практиковалась во Франции. Сийес, например, призывал к «трехгодичной системе», согласно которой треть Национального собрания подлежала ежегодному переизбранию. Его главной заботой было установление баланса через сочетание частой смены персонального состава, необходимой для того, чтобы парламент реагировал на меняющуюся волю народа, с сохранением в нем опытных парламентариев. Обеспечивать это должны были частичные ежегодные выборы, способные соединить «надежное постоянство и свободу» (Madison/Hamilton/Jay 1987 [1788]: 372). Однако стоявшая за этой идеей теория подразумевала пропорциональность двух тел: «Король обладал единым постоянным телом, собственным символическим телом, но благодаря принципу наследования продолжал свое реальное тело в преемнике, обеспечивая непрерывную циркуляцию королевской крови. Подобно этому двойным постоянством обладает и нация: с одной стороны, это великое тело граждан, с другой — представительное тело, постоянно обновляемое на треть, в то время как циркуляция крови наделяет жизнью национальный суверенитет» (Ваеске 1997: 101).

Другие авторы использовали аналогию циркуляции для описания частичного обновления парламента. К ним принадлежат, например, Джон Стюарт Милль (Mill 1958; Милль 2006) и Джеймс Мэдисон («постоянная смена в этих органах власти полностью обновляет весь их состав») (Madison, Hamilton and Jay 1987 [1788]: 373; Федералист 1994: 421). Трехгодичная система, таким образом, дол-



жна была гарантировать «близость к реальной жизни» парламентской куклы или ее изобразительное сходство с «постоянством реального тела суверенитета» (Ваескуе 1997: 99). Цель состояла в том, чтобы политическая персона и парламентский портрет пребывали в постоянном согласии друг с другом.

Конечно, имелись «ритуальные», а также прагматические причины для того, чтобы вместо таких частичных обновлений в конце концов утвердился единый национальный срок жизни парламента. Выборы, приводящие общество в состояние глубокого возбуждения, функционируют как периодические, а не постоянные сценические демонстрации *demos*'а. Однако в способе политической легитимации современных демократий сохраняются важные различия, которые, в свою очередь, указывают на лежащие в их основе различия в «теориях политической анатомии». С развиваемой нами точки зрения, вряд ли можно считать случайностью то, что в сравнительно старых демократиях Франции, Бельгии и Соединенных Штатов выборы законодательных органов, которые должны обеспечивать подобие парламента телу народа, проходят в середине президентского срока. Различия (ставшие условными) между французским народным суверенитетом и британским парламентским суверенитетом помогают также объяснить, почему в Британии дата всеобщих выборов может быть назначена правительством в любое время в рамках пятилетнего срока жизни парламента, в то время как в континентальных странах промежуток между выборами определен более жестко и часто прописывается в конституции (см.: Smith 2004). Британское правительство и палата общин не раз использовали свои широкие прерогативы. Например, в 1911 г.

парламент решил сократить срок собственных законодательных полномочий с семи до пяти лет (Loewenstein 1967: 67), а во время двух мировых войн увеличивал его до восьми (1910–1918) и десяти (1935–1945) лет (*ibid.*).

В общую картину укладывается также то, что материальная прерывность, т. е. прекращение рассмотрения законопроекта, не принятого в течение строго определенного периода времени, привязана в Британии к парламентской *сессии*, а не ко всему парламентскому *сроку* (как, например, во Франции или Германии). Материальная прерывность объективно не оправдана периодическим прекращением «власти представлять» (Jekewitz 1977), которое является частью демократического electoralного контекста. Скорее, парламентский ритм задает именно *сессия*, а ее определяет старая королевская прерогатива «созывать», объявлять «перерыв в работе» и «ропуск» нижней палаты. Поэтому в британском случае принцип прерывности особенно узок и строг. Для того чтобы обеспечить принятие законов в отведенный для этого промежуток времени и ограничить возможности шантажа и проволочек со стороны депутатов, правительство имеет в своем распоряжении инструмент так называемой «парламентской гильотины» (Döging 1995b). Этот инструмент позволяет ему заранее определять лимит времени, выход за пределы которого при обсуждении поправок (включая поправки к правительственным законопроектам) пресекается, и вопрос в обязательном порядке ставится на голосование. В результате стратегии обструкции, основанные на проволочках, лишаются любых поводов, которые можно было бы использовать для затягивания процесса принятия решений.

## 3.6

## Прощание с телом народа?

1. Проведенное выше обсуждение парламентского иммунитета, публичного характера парламентских слушаний, пропорционального представительства и прерывности показало, каким образом идеи *ancien régime* переходили в новый политический порядок. Важнейшую роль при этом играли старые и новые образы политического тела — аналогии этого типа преобладали в интерпретативном стиле эпохи. Именно из этого контекста, а не из обращения к парламентскому принципу публичных дебатов (Schmitt 1985b: 7; Шмитт 2009: 10; см. прим. 8 к данной главе), черпали свой особый смысл принципы иммунитета, публичности, пропорциональности и прерывности.

Одной из причин постоянных ссылок на политическое тело было, конечно, то, что словарь политической легитимации менялся не так быстро, как политические отношения, которые он должен был описывать и оправдывать. Французские революционеры хорошо это понимали, о чем свидетельствуют их жалобы на «бедность нашего языка для выражения политических идей, абсолютно новых для большинства нации» (Rabaut Saint-Étienne 1789, цит. по: Rosanvallon 2000: 26). Поэтому характеристики нового порядка неизбежно оставались в семантическом плену у порядка старого: «Радикально новый ответ на вопрос о законности правления давался на языке, который использовался в традиционных рассуждениях о легитимности» (Kielmannsegg 1977: 232). Революция «не была чем-то, что люди нашли [...] она ими творилась, и им требовались старые

формулы для того, чтобы знать или, лучше сказать, обсуждать то, что они делали» (Walzer 1974: v)<sup>36</sup>.

Традиционная идея политического тела, будучи кодификацией политического опыта, облегчала метафорическое осмысление новой и незнакомой формы правления (ср.: White 1978: 7–15). Поэтому образы политического тела стали неотъемлемой частью дискурса: к корпоральным метафорам прибегали как оппоненты, так и сторонники нового режима: «анатомирование стало неотъемлемой общей чертой риторики и революции, и контрреволюции» (Landes 2004: 148). Вопреки суждению о том, что «политическое тело» исчезло из дискурса о легитимации вместе с *ancien régime* (Lefort 1988; Лефор 1999; De Mazza 2003), конец традиции, как доказывала Ханна Арендт, не означал с необходимостью, что традиционная понятийная система потеряла власть над человеческим мышлением.

В 1970-х гг. Рейнхарт Козеллек показал, что демократизация старого общества связана с демократизацией (старых) понятий, используемых при описании общества (Koselleck 1972: xvi). В этом смысле троп политического тела существенно важен для понимания того, каким образом интеллектуально определяется и легитимируется новый порядок. Дискурс Французской революции не отринул полностью

---

36. Заимствование из «истории понятий» Козеллека очевидно.

Приведу всего два примера. «Семантика меняется более медленным темпом, чем сами события. Фиксация опытов в языке предотвращает их радикальное изменение, о чем говорит *l'histoire événementielle* (перечень исторических событий)» (Koselleck 2006: 42). «Движущая сила понятий, после того как они кристаллизовались, сохраняется на протяжении веков. Их семантический заряд невозможно ослабить, и он превосходит своей стимулирующей и дефинитивной силой все позднейшие попытки пересемантизации» (ibid.: 532).

идею политического тела, а стремился модифицировать ее в соответствии с новой теорией демократического представительства. Начиная с этого времени демократическое тело народа и его парламентский двойник заняли пустое пространство, оставшееся от двух тел короля. Представлять — значит персонифицировать и воплощать (ср.: Rosanvallon 1998: 20); демократия постулировала посредством парламента «символическое тело вместо народа, который как таковой не мог быть выявлен и продемонстрирован» (ibid.). Пытаясь выразить с помощью метафоры новый и проблематичный опыт, политический дискурс использовал хорошо знакомый язык легитимации, превратив политическое тело в «центральное понятие» революции (Бек). Революция получила собственную поэтическую логику, которая, как мы видели, не была дескриптивно невинной. Именно о таком сохранении элементов, принадлежащих старой системе легитимации власти, в новом, якобы просвещенном веке писал Фуко: «В политической теории мы все еще никак не отрубим королю голову» (цит. по: Gorski 1993: 265). В том же духе Жувенель доказывал, что «король не исчез в революции» (ibid.). Вытесненное из сознания тело короля возвращается в практике демократии.

2. Тем не менее, это мнение меньшинства. Доминирующая сегодня точка зрения состоит в том, что любые откровенно метафорические концепции демократического народного суверенитета, воплощенного в парламенте, остались далеко в прошлом. Хабермас, явно прощаясь с такими образами, предложил альтернативу, которая, на его взгляд, в большей степени отвечает сегодняшнему дню: «Если все же говорить о реалистическом применении идеи

суверенитета народа к очень сложным обществам, то ее следует отделить от конкретного воплощения в физически присутствующих, участвующих и принимающих совместные решения членах той или иной коллективности» (Habermas 1992a: 451). Для Хабермаса старые овеществленные образы исчезли в практике демократии. Народный суверенитет уже не может быть «воплощен» иначе, как в «бессубъектных, хотя несомненно взыскательных, формах коммуникации» (ibid.).

Но почему именно политическое обсуждение, или бессубъектная политическая коммуникация, выступают «заменой изгнанного „тела“ народа» и должны «занять вакантное место суверена» (Habermas 1996: 476)? Неужели верно, что «народный суверенитет» мыслим сегодня только как «дискурсивное поведение»? И даже если это так, какого рода политическое обсуждение, какого рода политическая публичная сфера может заменить народный суверенитет?

Как показало историческое сопоставление, проведенное в разделе 3.3, существовали важные различия между процессами формирования парламентской публичной сферы во Франции и Британии. Считая Британию образцом развития буржуазной политической сферы, Хабермас использует тенденциозную нормативную модель. По сути дела, причиной огромного успеха работ Хабермаса о публичной сфере была его концепция (основанная на британском случае) общества, которое артикулирует свои интересы и мнения главным образом за пределами парламента и затем придает им обязательную силу, устраивая «нечто подобное осаде» «демократически конституированным принимающим решения телам» (Habermas 1992a: 452). Для тех современников Хабермаса в Германии, созна-

тельная политическая социализация которых происходила во времена Аденауэра и которым в 1966 г. довелось наблюдать, как ХДС (в качестве «квази-естественной партии власти») кооптировал оппозиционную СДПГ вместо того, чтобы уступить дорогу новому правительству, идея о «давлении публичного мнения», способного «преодолеть парламентскую исключительность», казалась весьма привлекательной (Habermas 1992a). Однако идеал автономных, внепарламентских публичных сфер, устраивающих осаду демократическим принимающим решения телам, не был убедителен ни в теоретическом, ни в историческом плане.

Французский случай указывал на совершенно другую модель. В контексте Французской революции отправной точкой служило широко распространенное мнение, что народ просто не может дебатировать сам с собой; «не может говорить, не может действовать иначе, как через своих представителей» (Loewenstein 1964 [1922]: 207, прим. 94). Только парламент наделил нового суверена голосом. «*Ce vœu (national), où peut-il être, où peut-on le reconnaître, si ce n'est dans l'Assemblée nationale elle-même?*» (Эта [национальная] воля, где она может быть, где еще ее можно найти, как не в самом Национальном собрании?) (Sieyès, цит. по: Loewenstein 1964, pp. 206–207, прим. 96). Таким образом, французская модель представительной публичной сферы предлагала важнейшую альтернативу: обсуждение (*delibération*) для народа вместо обсуждения, осуществляемого *самим* народом.

3. В идеальном представлении о самих себе современные западные общества выступают как демократические сообщества. Такой образ основывается

на коллективной памяти. В этом отношении Французская революция предлагает центральный «основополагающий миф» (Assmann 2002) сегодняшней политической системы. Коллективная память об этой революции, живущая в теориях демократии, подчеркивает радикальный разрыв с *ancien régime* — прочь от личного правления монархов, вперед к «бестелесному» суверенитету народа. Как мы пытались показать, разрыв этот произошел в рамках символического порядка, находившегося в рабской зависимости от *ancien régime*.

Задача первостепенной важности для современной политической теории и истории идей заключается не в том, чтобы вновь и вновь воспроизводить «основополагающие мифы», твердить в тысячный раз, что Французская революция привела к эпохальным историческим преобразованиям. Наша задача в том, чтобы выявлять мифы, заключенные в идеях и теориях, проливать на них свет и устанавливать их корни. По словам Бюхнера, служащим эпиграфом к данной главе, цель в том, чтобы «проследить за лозунгами до конца, до того момента, пока они не воплотятся в жизнь», и понять современную демократическую практику как результат исторического наследования и как одновременное существование различных форм политического правления. В сущности, это означает, что нам следует выявлять пред-демократические условия демократии и заниматься поиском остатков образного мира *ancien régime* в практиках демократии, а не цепляться за идеальные образы самих себя, упорно рисуя новый порядок как радикальный разрыв с прошлым. Важную когнитивную функцию могут сыграть при этом такие категории, как «посмертная жизнь» (afterlife) (Aby Warburg) или «неодновременность одновременного (non-simultaneity of simultaneous)» (Pinder



1928: 12), с помощью которых историки искусства ставят под сомнение оправданность четких границ между эпохами. Такие понятия, как «следы памяти», имеющие в виду преддемократические практики и апологии, (до некоторой степени) намеренно размытые в современной демократии, применимы и в культурно-исторических исследованиях политического. Мы показали это на примере посмертной жизни политического тела в нашем якобы деперсонализированном, бестелесном времени. Наша демократия на самом деле не так свободна от метафизических пережитков, как пытается доказать ее передовая теория. Одной из причин посмертной жизни политического тела в нашем времени является то, что сама теория демократического представительства стала возможной благодаря тому, что путь ее развития пролегал через абсолютистскую доктрину представительства<sup>37</sup>.

---

37. «Итак, для суверена быть представителем — не что-то второстепенное, это существенно важно для самой его природы; он наделяет политическое тело способностью выражения и голосом. [...] В то же время политическое тело вообще существует лишь благодаря тому, что в его основе лежит акт представительства. Поскольку персона государства не имеет физического атрибута, ей необходимо представительство, чтобы обрести форму, т. е. дать выражение политической сущности. [...] Представительное начало, таким образом, присутствует не только в концепциях современной демократии, [...] но также в теории (обычно рассматриваемой в качестве диаметрально противоположной) абсолютного суверенитета и отношений господства и подчинения» (Duso 2006: 22). Карл Шмитт и Граф Кильмансег остро ставят вопрос об аналогичной преемственной связи между абсолютистской и демократической теориями представительства.

## 4

# Демократические тела / деспотические тела

### 4.1

#### Депутаты и двойники

**В** О ВРЕМЯ зарубежных государственных визитов — таких, например, как поездка в Лондон в ноябре 2003 г. — в кортеж американского президента входят два или три одинаковых «Кадиллака», и неясно, в каком из них находится президент. Говорят, что это делается в целях безопасности. Возможно, так оно и есть. Но сдерживающий эффект, скорее всего, достигается не очевидным «подумай, ведь ты можешь нанести удар не по тому автомобилю», а еле слышным посланием, гласящим: «подумай хорошенько, ведь даже если ты попадешь в тот самый автомобиль, для поездок всегда найдется другой „Кадиллак“». Тогда это будет Дик Чейни, который в него сядет, и опять его будут сопровождать пустые «Кадиллаки», в одном из которых будет вице-президент, готовый его заменить. И так далее и тому подобное.

Как мы знаем, демократии нашли решение проблемы наследования власти. В пред-демократических системах или диктатурах смерть правителя становится крайне болезненным моментом и способна вызвать беспорядки, волнения и грабежи. Томас Гоббс знал все о практиках эффигии, целью которых является ослабление кризиса, связанного со смертью монарха. Мы уже ссылались на его вывод: «В це-

лях сохранения мира среди людей необходимо, чтобы, подобно тому как были приняты меры к созданию искусственного человека, были также приняты меры к созданию искусственной вечности жизни, без которой люди, управляемые собранием, возвращались бы к состоянию войны через каждое поколение, а люди, управляемые одним человеком, — сразу по смерти их правителя. Эта искусственная вечность есть то, что люди называют правом наследования» (Гоббс, «Левиафан», гл. XIX).

Демократии гарантируют «искусственную вечность» более разумным способом, чем династии или деспоты. Но, чтобы сделать ее внешне ощутимой, они используют символические репрезентации, иногда напоминающие монархический ритуал двойного тела. В публичной демонстрации представительства современные демократии продолжают использовать символические элементы телесной репрезентации идентичности, и в конечном счете соответствующие персоны регулярно возвращаются к телам. Трудно представить себе более совершенные символические элементы, чем «Кадиллаки» американского президента. Не становимся ли мы свидетелями рождения современной демократической церемонии, «слияния искусственного с естественным» (Bloch 1973: 141; Блок 1998: 356)? Эрнст Канторович наверняка обрадовался бы этому свидетельству посмертной жизни двух тел короля в президентских «Кадиллаках».

«Кадиллаки» являются решением проблемы преемственности в условиях демократии, поэтому их не следует путать с феноменом доппельгенгеров<sup>1</sup>, двойников, которые решают проблемы, при-

---

1. Об иронии, с которой монархи относились к своим двойникам, свидетельствует игра с литературным уклоном под назва-

сущие деспотической персонализации правления. В отличие от демократий, диктатуры сталкиваются не только с серьезной проблемой преемственности, но и с трудностями, связанными с поддержанием режима личного правления. Поскольку вся власть принадлежит деспоту, любое недовольство режимом немедленно направляется на его персону — не говоря уже о том, что на пути к вершине власти деспоты обычно наживают себе массу врагов в близком и дальнем окружении. Говорят, что у Саддама Хусейна было целых пять двойников. Когда Йорг Хайдер, лидер крайне правой Австрийской партии свободы, прилетел в феврале 2002 г. в Багдад, он, как показал анализ фотографий, обменялся рукопожатием с одним из таких лже-Саддамов.

Поэтому для диктаторов вроде Саддама Хусейна важно (и даже существенно важно, с точки зрения выживания) быть «повсюду и нигде». А поскольку режим и персона диктатора суть одно, то это существенно важно и для выживания диктатуры. Деспоты не должны физически присутствовать, потому что от них в буквальном смысле зависит «жизнь и смерть» режима. Но им не следует и слишком долго отсутствовать, поскольку это рассеивает ауру всемогущества и вездесущности, на которой основано их правление. Двойники порождают именно это состояние неуверенности: диктатор присутствует, но он ли это на самом деле? Вездесущностью, столь важной для стабильности режима, его наделяют спецслужбы, его «глаза и уши», искусствен-

---

нием «Угадай суверена», которая «пользовалась успехом при позднесредневековых дворах как театрализованный способ времяпрепровождения. Избранные придворные одевались в то же платье, что и государь, и выступали в роли двойников» (Groeбner 2004: 57).

но расширяющие тело деспота. Беседуя с кем-либо, никогда не знаешь, присутствуют при этом «органы» или нет. И вновь эффект достигается не столько репрессиями, сколько еле слышным посланием.

В век технической репродуцируемости тело деспотического правителя всегда и везде присутствует как образ — в виде статуи, на монетах и марках, на картинах, висящих на стене в каждом учреждении, в ежедневных теленовостях. Вездесущность сияющего образа говорит о его власти. Если осквернение образа не влечет за собой наказания, это означает, что время деспота подошло к концу. Когда войска коалиции не сумели схватить Саддама Хусейна, прятавшегося в норе неподалеку от Мосула, они взялись за его многочисленные портреты и статуи<sup>2</sup>. Не сумев что-либо сделать с ним *in corpore*, в теле, они совершали это с ним *in effigie*, в изображении. Частью общей стратегии было разрушение статуи Саддама в Багдаде, показанное средствами массовой информации по всему миру. 31 марта 2003 г. короткое газетное сообщение о продвижении войск коалиции в южном Ираке информировало, что британские танки ворвались в Басру, уничтожили две статуи Саддама Хусейна и отошли на прежние позиции. Это был сигнал шиитскому населению города.

Разумеется, такие акции в иракской войне часто тщательно просчитывались, но зачастую это были

---

2. Разумеется, развеивать колдовские чары деспота помогали кадры захвата Саддама в окрестностях Мосула и фотография, на которой он сидит в исподнем в тюремной камере. «Когда Саддама Хусейна вытащили из норы в земле, это была жалкая фигура сразу в двух смыслах. Грязь и унижительная ситуация не просто повлияли на его смертное тело, они свели его к чисто природному существованию. Деспот был нагим! [...], это был призрак августейшего тела» (Charim 2006: 16).

«суррогатные» операции. Если правителя не удалось схватить, его изображения уничтожались или превращались в *pittura infamanti*, «портреты бесчестья» (ср. Edgerton 1985).

Иногда говорят, что иракская война была столкновением цивилизаций — секулярного Запада и фундаменталистского Востока. Однако в своей наивной вере во власть образов тегеранские демонстранты, сжигавшие куклы Блэра и Буша, и американские солдаты, прокалывавшие штыками плакаты с портретами Хусейна, мало чем отличались друг от друга.

В условиях диктатуры фиксация на теле правителя является более сильной и прямой, потому что власть диктатора непосредственно связана с его телом. Ритуалы перехода, с которыми мы знакомы по церемониям похорон короля, проводятся сегодня с помощью стратегий, направленных на искусственное продление жизни диктатора. Это делается для того, чтобы ослабить кризис, связанный с его смертью, и облегчить передачу власти. В 1975 г., например, когда мозг Франко перестал функционировать, биение его сердца поддерживалось еще целый месяц с небольшим благодаря переливанию крови, почечному диализу и аппарату искусственного дыхания. В середине февраля 1980 г. казалось, что каждый новый день будет для Тито последним, однако врачи сумели продлить ему жизнь до 5 мая. Говорят, что 4 ноября 2004 г. Ясир Арафат был введен в искусственную кому, чтобы выиграть время для решения проблемы передачи власти и сделать необходимые распоряжения насчет наследства и похорон. О смерти было официально сообщено лишь несколько недель спустя. Как и в случаях с Франко, Черненко и Мао Цзэдуном, многочисленные первые сообщения о смерти Ара-



РИС. 12. Американский солдат уничтожает  
портрет Саддама Хусейна  
ИСТОЧНИК: Reuters/CORBIS, Düsseldorf

фата и их многочисленные официальные опровержения публиковались для того, чтобы подготовить публику к кончине правителя.

В фильме Вуди Аллена «Спящий», действие которого происходит в тоталитарном полицейском государстве будущего, от убитого Великого лидера остается только нос. Нос помещается в особую тщательно охраняемую камеру в надежде, что когда-нибудь с помощью генетической информации, содержащейся в назальных клетках, диктатора удастся клонировать. Технология клонирования действительно могла бы устранить слабое место диктаторских форм правления. Политическая проблема «искусственной вечности жизни» была бы тогда решена биологическими методами.

## 4.2

### In corpore / in effigie (1)

Но что случается, когда народ получает власть над павшим диктатором *in corpore*, а не только *in effigie*? 28 апреля 1945 г. днем Бенито Муссолини, его любовница Кларетта Петаччи и несколько фашистских функционеров были застрелены бойцами коммунистического отряда сопротивления в деревне Джулина ди Меццегра на озере Комо. На следующий день они были привезены на грузовике в Милан, свалены на землю и подвергнуты надругательствам беснующейся толпы. Пять трупов были подвешены головой вниз на стропилах автотранспорта на площади Пьяцца Лорето (Luzzatto 2005). 30 апреля, после того как с тел счистили слой грязи из плевков и мочи, было проведено вскрытие тела бывшего правителя. В отчете отмечалось: «Голова неправильной формы из-за по-



вреждений черепа; черты лица неузнаваемы из-за пулевых ран и обширных ушибов; глазное яблоко разорвано, стекловидное тело вытекло; верхняя челюсть раздроблена, многочисленные разрывы нёба; мозжечок, варолиев мост, средний мозг и часть затылочных долей раздавлены; сильный разрыв в основании черепа, обломки кости продавлены в гайморовы полости (Luzzatto 2005: 70).

«Чугунная башка» дуче превратилась в серое месиво, самопровозглашенного «буйвола нации» подвесили за ноги на крюке мясника. После падения фашистского режима ликующая пропаганда, демонстрировавшая тело бывшего вождя, перешла в массовое насилие над этим телом. Политический «театр мучеников», часть первая: деяния злодея должны быть видны на его теле. Подобно публичной казни Людовика XVI 21 января 1793 г. в Париже, демонстрация тела Муссолини на Пьяцца Лорето 29 апреля 1945 г. знаменовала конец старого режима и подтверждала власть режима нового. Политический «театр мучеников», часть вторая: присутствие нового суверена, которому дали волю, должно стать видимым на теле суверена старого (ср.: Foucault 1977; Фуко 1999).

Фотографии трупов дуче, его любовницы и фашистских функционеров, напоминающие ренессансные *pittura infamanti*, получили в Италии широкое хождение, пока не были запрещены Комитетом национального освобождения. Существовало множество причин, по которым изображения brutального осквернения трупа Муссолини не должны были попасть в число символов, легитимировавших новую республику. Они свидетельствовали о дикости, проявленной толпой политических линчевателей, и вызывали смешанные чувства у сторонников республики, поскольку, по некоторым подозре-



РИС. 13. «Зарисовки человека, подвешенного за левую ногу», Андреа дель Сарто (1486–1530)

источник: Devonshire Collection, Chatsworth, Reproduced by permission of Chatsworth Settlement Trustees



РИС. 14. Труп Муссолини на Пьяцца Лорето, Милан  
источник: akg-images, Berlin

ниям, толпа, которая в слепой ярости изуродовала труп и надругалась над ним, включала многих из числа тех, кто всего за несколько лет до этого приходил в неистовый восторг от дуче.

Мы видим поистине демократическую сцену: сборищу на месте казни, или амфитеатру, разрешено как «народу» вершить спонтанный божий суд. Если гладиатор доказал свою особенную храбрость, если палач оказался слишком неуклюж в своем деле, если страдания преступника вызвали жалость в толпе, собравшийся народ может решить не отнимать у него жизнь. Но он может с той же легкостью насладиться спектаклем или даже прикончить злодея своими собственными руками (возможно, и его палача тоже) (Foucault 1977; Фуко 1999).

Таков исходный смысл формулы *vox populi, vox Dei* (глас народа, глас Божий) (Voas 1969; Bougeau 2001): решение народа как ордалия, как «пощадить» или «добить», как жизнь или смерть. Непредсказуемость, иррациональность и спонтанность были важнейшими аспектами вердикта. Представления о высшем разуме, который проявляется в решении народа, возникли не так давно. Больше того, в уникальной мифической конструкции, известной нам по другой истории, запечатлен внезапный переход от апофеоза к проклятию. Вначале они кричали «Осанна!», затем «Распни его!». «Сегодня его еще почитают, как бога, а завтра убивают, как преступника» (Freud 1999 [1913]: 44; Фрейд 2005: 78). Фрейд сообщает также, что, согласно этнографическим изысканиям Фрейзера, «первые короли были чужеземцы, предназначенные после короткого периода властвования к принесению в жертву как представители божества на торжественных праздниках. И на мифах христианства отражается еще влияние этого исторического развития королевского достоинства» (*ibid.*: 51; там же: 90).

### 4.3

#### In corpore / in effigie (2)

Демократические тела тоже часто демонстрируются нам в эффигии. «Тони Блэр не проговорился о том, где будет проводить каникулы этим летом. Поэтому салон мадам Тюссо по своей собственной инициативе отправил британского премьер-министра в южные моря. Представитель салона восковых фигур заявил в пятницу, что фигура Блэра одета в гавайскую рубашку, на ней солнечные очки и гирлянда цветов. Через несколько дней, правда,

восковой Блэр снова должен будет надеть свой элегантный костюм, поведал Майкл Бёрч. В последние годы Блэр, его жена Чери и их четверо детей проводили каникулы в таких местах, как Мексика, Барбадос и юг Франции» (German Press Agency, 19 August 2005).

Историческое ядро коллекции мадам Тюссо, которую она взяла с собой в 1802 г. в Лондон из своего парижского Салона восковых фигур, включает посмертные маски французских революционеров, которые она и д-р Курциус сделали после их гильотинирования на площади Революции. Сегодня восковая копия головы Робеспьера все еще демонстрируется в одном из залов на Бейкер-стрит, хотя есть некоторые сомнения насчет того, что это оригинал 1794 года. 12 июля 1789 г. в знак протеста против увольнения Неккера, состоявшегося накануне, толпа во главе с Камилем Демуленом штурмовала Салон восковых фигур и потребовала, чтобы д-р Курциус выдал восковые бюсты Неккера и герцога Орлеанского. Фигуры были насажены на пики, облачены в черный креп и пронесены парадным шествием по улицам Парижа в знак солидарности с этими двумя поборниками реформ. Встреча с солдатами короля закончилась тем, что бюст Неккера был поврежден; затем он был потерян и только через шесть дней возвращен в Салон восковых фигур (Pilbeam 2003: 39) (см. рис. 15).

Двумя днями позже, после того как комендант Бастилии Бернар Делоне и парижский магистрат Жак де Флессель пали жертвой народного гнева, головы этих людей, поднятые на пики, были пронесены толпой по улицам столицы. Затем их передали в Салон восковых фигур для изготовления восковых копий, которые вскоре пополнили постоянную экспозицию салона, вызывая живой интерес у публики (Pilbeam 2003: 42).



РИС. 15. Бюсты Неккера и герцога Орлеанского  
ИСТОЧНИК: Courtesy of Madame Tussaud's Attractions

После того как генерал Лафайет покинул лагерь революции и бежал в Цюрих, салон д-ра Курциуса подвергся нападкам со стороны революционеров за то, что восковая фигура предателя не была немедленно изъята из экспозиции. Конвенту были принесены извинения, а затем фигуру Лафайета публично гильотинировали на улице прямо напротив Салона (*execution in effigie*) (Pilbeam 2003: 53). Но довольно о триумфе Просвещения во Французской революции.

#### 4.4

#### In corpore / in effigie (3)

В наши дни технология больших проекционных экранов позволяет поместить двойное политическое тело на сцену. Именно такие образы впервые наделяют особой аурой тех, кто выступает на пар-

тийных конференциях. Политики могут рассчитывать на то, что подобное событие будет упомянуто в СМИ и вызовет у публики чувство воодушевления — ведь ей довелось присутствовать на важном мероприятии! Большой экран создает ощущение прямой визуальной связи с событием на экране, где выступающий(ая) кажется стоящим между публикой и своим изображением. Мы, зрители, смотрим поверх оратора и видим... оратора, но исполинских размеров. Изображение трансформирует его или ее и превращает из реальной фигуры в искусственную; оно отдаляет оратора, и мы знакомимся с ним лишь на дистанции. Выступающий обретает другое качество, становится публичным достоянием, выглядит чем-то особенным. Именно в этой искусственности он или она неожиданно становятся реальными в особом смысле, выступая *in abstracto* как персонификация горячего коллективного стремления. Или, иначе говоря, наблюдаемый на экране образ порождает в публике глубокое коллективное сопереживание. Проецируемый образ создает возможность коллективной проекции, и благодаря «одновременной коллективной рецепции» (Benjamin 1968; Беньямин 2000) конституируется представленное политическое сообщество. Если верно, что (ре)презентация и в самом деле является важнейшим понятием «культурно-исторического исследования политического» (Stollberg-Rilinger 2005), то связанные с нею техники и медийные средства должны оказаться в центре нашего внимания. Ибо политически репрезентировано может быть только то, что репрезентируемо технически<sup>3</sup>.

---

3. На это указывал, в частности, Вальтер Беньямин. Для понимания современной политики важно, что «массовая репродук-

В 1559 г., в первый год своего правления, королева Елизавета запретила исполнять в театрах роли живых правителей. «Монарха и правящую элиту беспокоило то, что их представляли на сцене, какими бы лестными ни были сами сценические образы. Разрешая такие представления, они, по сути дела, чувствовали, что теряют контроль над собственными персонами, и опасались, что театр, по словам королевы, добьется того, что «сделает величие обыденным» (Greenblatt 2004: 339). Сегодня страх перед «десанктификацией», потерей правителем ауры из-за *неконтролируемой* медиа-репрезентации, вряд ли актуален (впрочем, см.: Meugowitz 1985; Wopі 2002), что объясняется главным образом быстрым развитием новой индустрии, производящей *контролируемые* медиа-репрезентации правителей.

Как показал политолог и историк Майкл Роджин, президент Рональд Рейган «в критические моменты своей карьеры цитировал строки из собственных и других популярных фильмов» (Greenblatt 1986: 6). Роджин объясняет это «психологическим переключением с настоящего Я на его иллюзорное подобие в кино» (ibid.; ср. Rogin 1987: 3). В 1981 г. Рейгана попросили произнести официальное приветственное слово на церемонии присуждения наград Академией киноискусства. Джон У. Хинкли-младший специально выбрал для покушения на жизнь президента день присуждения «Оскара». Отождествив себя с персонажем, сыгранным Робертом де Ниро в «Таксисте», он стал фанатом оружия и решил доказать свою любовь к Джоуди Фостер (или персонажу, которого она играла в фильме), совершив убийство политического лиде-

---

*ция оказывается особо созвучной репродукции масс»* (Benjamin 1968: 251, п. 21; Беньямин 2000: 151, прим. 31).

ра. Попытка покушения провалилась, но он все же добился того, что церемония вручения «Оскара» была отложена на один день.

Миллионы американцев, смотревшие телевизор, вновь и вновь переживали эпизод с покушением. Сила кинообраза подтверждала факт покушения; та же сила позволила Рейгану выступить перед Академией на следующий день вечером, как если бы никаких выстрелов никогда не было. Телевизионная аудитория, смотря на экран, видела аудиторию в Голливуде, которая смотрела на другой экран. Одна аудитория смотрела, как другая аудитория аплодировала записанному на пленку изображению живого и здорового Рейгана, в то время как настоящий президент лежал в госпитале. Рейган стал президентом благодаря кино, из-за кино он был госпитализирован, и с помощью кино он присутствовал на церемонии как живой и здоровый образ. Покушение стало кульминационным пунктом поглощения реальности кинематографом (Rogin 1987: 4).

В фильме Любича «Быть или не быть», одном из самых блестящих размышлений о политической власти и способах ее сценической демонстрации, польская театральная труппа ставит накануне Второй мировой войны пьесу о Гитлере. Недовольный игрой актера, исполняющего главную роль, режиссер указывает на внушительный портрет Гитлера на сцене и говорит актеру, чтобы тот играл фюрера, создавая максимально достоверный образ, такой как на портрете: «Посмотри на портрет, вот как он должен выглядеть». На что актер отвечает: «Но этот портрет написан с меня!»<sup>4</sup>

---

4. На что директор ответил: «Значит, и портрет тоже неправильный».



## 4.5

Горячее и холодное  
представительство

В тоталитарной системе двойное тело демонстрируется массами и вождями новым способом. Тоталитарное двойное тело состоит, с одной стороны, из эстетизированной, женственной массы, совершающей истинно хореографические па, а с другой стороны, из вождя, который, стоя неподвижно на трибуне или на балконе, созерцает торжественно марширующую толпу и служит виртуальной точкой, в которой фокусируется ее возбуждение (Rolf 2006). Это описывалось следующим образом в отношении Дворца советов в Москве.

Площадь для торжественных маршей примыкает к Дворцу советов. Она служит для производства геометрических масс [...] По сути, здесь всегда два тела [...]: марширующее тело масс, бесконечно дислоцированное на горизонтальной плоскости, в парадах, которые длятся часами и предназначены для глаз Сталина и мертвых глаз Ленина; и устремленная в небо вертикаль властного тела (Böhme 2006: 279).

Тело народа, построенное в марширующие колонны, является, однако, пустым, «простым сосудом, вбирающим в себя триумфальную волю вождя [...]». Один человек — ничто перед горой дворца, но и все вместе они ничто. Каждый становится выражением этой обожествленной фигуры беспредельной силы» — вождя (ibid.).

«Вождь», как «возможность и одновременно как требование коллективного единства» (Bataille 1997: 134; Батай 1995: 92), индивидуализирует власть,

и посредством этого сведения власти к персональной сущности «магнетическое поле царствования» получает второе рождение в фашизме. Поэтому фашизм может быть назван формой «горячего представительства» в отличие от «представительства холодного». В одном — наэлектризованное напряжение, возникающее между вождем и толпой в театральной постановке, которую устраивает режим; в другом — дистанция между парламентом и отсутствующим суверенным народом. В одном — интенсивность представительства, сопряженная с ситуацией; в другом — временное расширение (dilation) процесса представительства. В одном прямое отражение масс в вожде («*la volonté populaire faite homme*», народная воля, ставшая человеком) и отождествление с ним; в другом абстрактное, не прямое копирование парламентом тела народа. Роберт Михельс рассказывал об импровизированной речи, которую Муссолини произнес перед своими сторонниками после покушения на его жизнь: «Спустя всего несколько часов после покушения, все еще с забинтованной головой, Муссолини обратился с балкона Палаццо Чиги к многотысячной толпе и указал на опасности, грозящие Италии и исходящие от политики ее врагов. Человек из народа прервал его и, сорвав аплодисменты, произнес: *No, sei tu l'Italia!* Нет, это ты Италия!» (Michels 1987: 300).

Поэтому нет ничего удивительного, что в XIX и XX вв. совершались попытки возродить монархические теории представительства (*Rex est populus*). На этот раз утверждалось, что вождь — «не человек, но народ» (Артур де ла Лагероньер, цит. по: Rosanvallon 2000: 210).

Но, возможно, горячие и холодные модусы представительства не просто конкуренты или дубликаты друга друга. Согласно Канетти, в массе, когда

давление индивидуализации спадает, люди стягивают с себя бремя разъединяющей их дистанции.

«Именно это происходит в массе. При разрядке все разделяющее отбрасывается, и все чувствуют себя равными. В тесноте, где ничто не разделяет, где тело прижато к телу, каждый близок другому как самому себе. Это миг облегчения. Ради этого мига счастья, когда каждый не больше и не лучше, чем другой, люди соединяются в массу» (Canetti 1994: 19; Канетти 1997: 22).

Лефор дает аналогичную интерпретацию стремления к «горячему представительству», хотя и на уровне коллектива и с бóльшим акцентом на политическом, а не общественном. Когда общественный конфликт «не находит более символического разрешения в политической сфере, когда власть [...] проявляет себя находящейся в обществе, когда последнее оказывается как бы раздробленным, тогда развивается фантазм единого народа, поиск субстанциальной идентичности, спаянного с головой социального тела, воплощенной власти, государства, свободного от разделения» (Lefort 1988: 19–20; Лефор 1999: 29–30; выделено автором. — Ф. М.).

Поэтому то, что получает политическую разрядку, когда непосредственность собравшейся массы противостоит фиктивному представительству народа посредством парламента, включает в себя, по-видимому, бремя дистанции, накопленное в модусе холодного представительства.

## 4.6

### Насильственное / чудотворное

Во время президентской кампании 2004 г. на телевизионных экранах почти ежедневно появлялся образ Джорджа У. Буша. И после третьей теледюз-

ли с Джоном Керри, и после речи в ходе предвыборного турне, произнесенной с трибуны в центре митинга, он «ныряет в толпу», обмениваясь рукопожатиями и излучая оптимизм. Женщина протягивает ему ребенка; он берет его на руки, целует в лобик, позирует с ним перед камерами. Хоркхаймер и Адорно находили этому только одно объяснение: «ленивое поглаживание волос ребенка или меха животного означает: эта рука способна убить» (Horkheimer and Adorno 2002: 210; Адорно и Хоркхаймер 1997: 305; перевод исправлен.— *Прим. перев.*). Но настоящее объяснение можно найти не в «диалектике просвещения», а в работе Марка Блока о чудесном королевском прикосновении. Поглаживание детей по головке говорит: обратите внимание, это святое тело способно исцелять. Сегодня больных золотухой уже не подводят для чудесного исцеления к харизматическому лидеру. Но слабые и больные, дети и нуждающиеся все еще могут надеяться на покровительство и исцеление, если только им удастся подойти поближе к правителю или к будущему правителю. И, веруя в «магию прикосновения» сильных мира сего, они тем самым подтверждают харизму, легитимирующую положение во власти. Выходит, что наши правители не столько насильники, сколько чудотворцы.

Впрочем, способность творить чудеса принадлежит власти, близость к которой может оказаться опасной, и поэтому было бы правильнее, если бы Хоркхаймер и Адорно написали: «Эта рука *может* убить». Иначе говоря, непрошеное, неразрешенное, неподконтрольное прикосновение убивает, и делает это не через насилие, а исключительно властью харизмы. Возьмем, например, тонкую игру на табуированное прикосновение и разрешенный

физический контакт, разворачивающуюся в ритуале избирательной кампании. Телохранители защищают тело правителя от непрошеного контакта; к нему никогда не прикасаются, но сам он прикасается к другим или разрешает прикоснуться к себе. Телесный контакт, в конечном счете, есть «начало всякого обладания, всякой попытки подчинить человека или предмет» (Freud 1999 [1913]: 33–34; Фрейд 2005: 63). Запрет на прикосновение лежал в основе неистового осквернения трупа Муссолини; это был акт насилия, посредством которого толпа получала власть, еще недавно воплощенную в дуче. Тело правителя больше не было защищено от прикосновения, и это доказывало, что он лишился своей власти.

О первой победе на выборах Тони Блэра рассказывают следующую историю. Ночью «он покинул свой округ Седжфилд и направился частным авиарейсом в Лондон. В машине, которая везла его в заполненный до отказа Королевский фестиваль зал, он и Алистер Кемпбелл слушали по радио, как возбужденный туповатый ведущий без конца повторял: „Тони Блэр едет! Он уже в пяти минутах отсюда!“ И вот Тони Блэр приехал, и тут взошло солнце. Многие ручались, что так и было. Один свидетель описал, как это произошло: „Как только бледные лучи утреннего солнца осветили Темзу, Блэр возвысил голос, перекрыв рев толпы“. Именно тогда он произнес историческую фразу: „Новый день наступил, не так ли?“ Имеются две версии того, как случилось, что восход солнца совпал с рождением новой эры и появлением нового премьер-министра. Ибо даже тогда неумолимое солнце поднялось не только над почитателями, но и над критиканами — людьми, которые говорили, что лимзин победителя терпеливо колесил по Гайд-пар-

ку, пока не наступил момент восхода. Кемпбелл сохранил в памяти иную версию событий. По его словам, водитель заблудился, затем поехал по улице с односторонним движением и потратил бог знает сколько времени в поисках поворота»<sup>5</sup>.

Нарезая ли круги или случайно, но современное демократическое правление тоже пытается легитимировать себя с помощью чудесных знамений, в том числе природных, таких как «неумолимое солнце». Восход и заход французского Короля-Солнца, синхронизированные с движением светила, очевидно, сохранились до сегодняшнего дня (Burke 1993).

Не было ли также «переходящим королевским остатком» (Truesdell 1997) то, что Николя Саркози выбрал 2 декабря 2004 г. — дату двухсотлетнего юбилея (само)коронации Наполеона — датой своего собственного назначения председателем «Союза за народное движение» (*Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 12 August 2004)? В заранее запланированном назначении на выборный пост ничего необычного на самом деле не было, но в то же время такое событие должно было выглядеть воплощением коллективной мечты. Мы вновь видим знакомый рисунок. В публичных демонстрациях современного представительства демократии все еще используют символические элементы телесной идентичности, ибо они тоже в конечном итоге вновь и вновь возвращаются к телу, к физической персоне.

---

5. Цит. по: Bernhard Heimrich, «Schatten über Downing Street. Alastair Campbell scheint die Regeln seiner Kunst vergessen zu haben», *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 23 July 2003, p. 3.

## 4.7

## Dignitas / humanitas

В одном из эпизодов фильма Майкла Мура «Фаренгейт 9/11» американский министр юстиции Джон Ашкрофт поворачивается к гримеру и смеясь говорит: «Сделай так, чтобы я выглядел молодым!» Когда в августе 2004 г. Сильвио Берлускони приветствовал чету Блэров, Тони и Чери, в своем имении на Сардинии в августе 2004 г., голову его украшало нечто вроде пиратской банданы, скрывавшей следы недавней пересадки волос. А в конце 2003 г. он исчез на несколько недель из поля зрения публики, чтобы сделать то, что итальянцы называют *operazione di lifting*.

Гостя Берлускони, приехавшего к нему на каникулы, тоже заботит, как он выглядит в СМИ. «В ответ на вопрос, заданный в парламенте, правительство известило, что за последние шесть лет офис Блэра израсходовал 1050 фунтов 22 пенса на косметику и 791 фунт и 20 пенсов на гримеров. Это означает, что премьер-министр тратил на свою внешность в два раза больше, чем средняя британская женщина, выкладывающая примерно 195 фунтов в год на косметику и уход за кожей» (*Die Welt*, 25 July 2005).

Интерес публики к физической персоне правителя и интерес правителя к своему телу продиктованы не желанием почесать языком, не пустым тщеславием или странностями в поведении. Крашенные волосы и отбеленные зубы премьер-министра, не предрасположенного к крашению и отбеливанию, а также, и прежде всего, интерес публики к таким вещам показывают, что даже в условиях демократии тело правителя не является обычным телом. Это «совершенно особое» тело, или, по крайней мере, оно дол-



РИС. 16. Берлускони до и после пересадки волос  
источник: Ullstein Bild — Unkel, Berlin

жно выглядеть таковым. Косметическая коррекция его медийного изображения должна гарантировать, что *dignitas* (достоинство) занимаемого поста не затронута ничем, что относится к *humanitas* (человеческой стороне) занимающего его лица; физическое тело правителя не должно служить помехой для его политического тела. Публику раздражают любые намеки на заурядность, любые признаки физической слабости, болезненности или дряхлости, напоминающие о том, насколько хрупкой является фикция сверхъестественного, вечного политического тела.

Поэтому политически значимыми могут оказаться самые банальные события: нетвердая походка Кастро; приступ головокружения, случившийся у Картера во время утренней пробежки; обморок Джорджа У. Буша, который подавился кренделем. Нетривиальность столь тривиальных новостей заключается в том, что мы считаем их заслуживающими освещения в новостях.



В воскресенье президент США Джордж У. Буш ненадолго потерял сознание, когда смотрел телевизор в Белом доме. Его врач, д-р Ричард Туп, сообщил, что президент подавился кренделем, в результате биение его сердца временно замедлилось. Однако президент быстро пришел в себя. [...] Примерно в 17:35 по местному времени (23:35 по центральноевропейскому), когда это произошло, Буш был один в комнате и смотрел матч Национальной футбольной лиги. Первая леди Лора Буш говорила по телефону в другой комнате. По словам его врача, президент получил ссадину на левой щеке, когда упал с дивана, и разбил нижнюю губу. Давление и пульс в норме (RP Online, 13 January 2002).

В работе «Хозяйство и общество» Макс Вебер пишет о харизме:

«Харизмой» следует называть качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, особыми силами и свойствами, не доступными другим людям. Оно рассматривается как посланное богом или как образец. (Первоначально это качество обусловлено магически и присуще как прорицателям, так и мудрецам-исцелителям, толкователям законов, предводителям охотников, военным героям). Как бы «объективно» правильно ни было оценено соответствующее качество с этической, эстетической или иной точки зрения, по существу, совершенно неважно. Важно одно; как оно фактически оценивается подчиненными харизме, «приверженцами» (Weber 1968: 241–242, §10).

«Интенсивность коллективного желания воплощается в [современном политическом] лидере, или,

по крайней мере, лидер делает все возможное для того, чтобы выглядеть его воплощением» (Cassirer 2007: 276). Нам и в голову не приходит, что у предмета нашей страсти могут потеть подмышки. А еще труднее считать политика «сверхчеловеком», «необыкновенной личностью» или даже существом «божественного происхождения», если внешний вид говорит об обычных человеческих сторонах его жизни. Политики знают об этом, как и о том, что распространяться об этом направо и налево значит совершать грубую политическую ошибку. Поэтому Нил Киннок вышел за рамки общепринятого, когда заявил, что отличительным признаком настоящего политика служит то, что публика не может даже вообразить его справляющим нужду<sup>6</sup>. Говорят, что капли пота на верхней губе Ричарда Никсона во время теледуэли с Джоном Ф. Кеннеди стоили ему решающих процентов в президентской кампании 1960 г., но это, возможно, говорит не столько о поверхностности телевизионной аудитории в США, сколько о значении харизмы в современных демократиях. Идея о том, что политическая власть в наши дни «бестелесна» и «постметафизична» (цитируя Хабермаса), возможно, и достойна уважения как благое пожелание, но она совершенно ошибочна в теории демократии, для которой всякая политика сводится к дискурсу.

Если *dignitas* поста потенциально всегда противоречит *humanitas* занимающего его лица, то указание на плотские или животные влечения политика всегда может использоваться в политических стыч-

---

6. См. удивительно похожее наблюдение депутата «Союза за французскую демократию» Жана-Кристофа Лагарда в интервью *Le Monde* (2 November 2006): «Вы будете смеяться, но, пока я не занял своего места в Национальном собрании, мне и в голову не приходило, что депутаты могут пойти отлить».

ках как оружие, способное «рассеивать колдовские чары». Дело Левински с его политико-порнографическим измерением послужило именно этой цели, выставив на публичное обозрение физические особенности президента. «Темно-синее платье» Моника Левински, запачканное президентской спермой, было изъято «независимым прокурором» Кеннетом Старром, породив свежую и эксцентричную версию сказки о новом платье короля (Thomas, Koschorke and Lüdemann 2002). На этот раз платье принадлежало любовнице, носило следы «сексуальных отношений», имевших место 28 февраля 1997 г., и было украдено, чтобы выставить императора нагим. Наиболее важный пункт в докладе Старра гласил: смотрите, на императоре нет одежды. В Средние века «нагим» на обозрение толпы выставлялось тело усопшего папы римского<sup>7</sup>. Это была демонстрация «дряхлости тела, быстротечности власти и долга смирения», доказывавшая, что Папа вновь стал просто человеком<sup>8</sup>. Республиканцы и независимый прокурор Старр стремились продемонстрировать публике наготу живого Билла Клинтона и, срывая с него одежду, уничтожали его как политика. Выставленная напоказ плоть правителя должна была рассеять его священную ауру. Порнографическое измерение, подчеркивая плотские влечения правителя, всегда успешно решало задачу его десакрализации (Hunt 1992; Ваеске 1997).

---

7. Бальяни (Bagliani 1997) разъясняет, что «нагой» не следует понимать буквально.

8. В формулировке Бальяни (Bagliani 1997), правитель или правит, или он умер, но он не умирает; папа римский, между тем, умирает на самом деле (*Papa moritur*). Намеренная демонстрация физической немощи, которую Иоанн Павел II рассматривал как долг, диктуемый занимаемым постом, немыслима для политического лидера.

4.8

Расколдовывание /  
переколдовывание

Кажется, что расколдовывание мира происходит достаточно гладко. Но происходит ли оно вообще? Макс Вебер, которому мы обязаны тезисом о секулярном триумфе западного рационализма, указывал также в своей социологии власти, что харизматическое правление полностью совместимо с современностью. Политологам придется и в дальнейшем рассказывать «истории с привидениями для взрослых» (Эби Варбург) в своих исследованиях современной западной демократии.

## Библиография

- Адорно, Теодор и Макс Хоркхаймер. 1997. *Диалектика Просвещения*. М.; СПб.: Медиум, Ювента.
- Батай, Жорж. 1995. Психологическая структура фашизма // *Новое литературное обозрение*. № 13. С. 80–102.
- Беньямин, Вальтер. 2000. *Озарения*. М.: Мартис.
- Блок, Марк. 1998. *Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии*. М.: Языки русской культуры.
- Канетти, Элиас. 1997. *Масса и власть*. М.: Ad Marginem.
- Канторович, Эрнст. 2014. *Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии*. М.: Издательство Института Гайдара.
- Лефор, Клод. 2000. *Политические очерки (XIX–XX века)*. М.: РОССПЭН.
- Манен, Бернар. 2008. *Принципы представительного правления*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Миль, Джон Стюарт. 2006. *Размышления о представительном правлении*. Челябинск: Социум.
- Тернер, Виктор. 1983. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура // Виктор Тернер. *Символ и ритуал*. М.: Наука.
- Федералист. 1994. *Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея*. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Литера».
- Фрейд, Зигмунд. 2005. *Тотем и табу*. СПб.: Азбука-классика.
- Фуко, Мишель. 2002. *Интеллектуалы и власть*. Ч. 1. М.: Практика.
- Фуко, Мишель. 1999. *Надзирать и наказывать*. М.: Ad Marginem.
- Шмитт, Карл. 2000а. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Карл Шмитт. *Политическая теология*. М.: Канон-Пресс-Ц. С. 155–258.
- Шмитт, Карл. 2000б. Политическая теология // Карл Шмитт. *Политическая теология*. М.: Канон-Пресс-Ц. С. 7–98.
- Шмитт, Карл. 2009. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма. Предварительные замеча-

- ния (О противоположности парламентаризма и демократии) // *Социологическое обозрение*. Т. 8. № 2. С. 6–16. [http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/30/1211853314/8\\_2\\_2.pdf](http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/30/1211853314/8_2_2.pdf)
- Agulhon, Maurice, 1981, *Marianne into Battle: Republican Imagery and Symbolism in France, 1789–1880*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Arasse, Daniel, 1989, *The Guillotine and the Terror*, London: Allen Lane.
- Archambault, Paul, 1967, «The Analogy of the „Body“ in Renaissance Political Literature», in *Bibliothèque d'humanisme et renaissance. Travaux et documents*, Geneva: Droz, pp. 21–53.
- Arndt, Adolf, 1992, «Demokratie als Bauherr», in Ingeborg Flagge and Wolfgang Jean Stock (eds), *Architektur und Demokratie*, Stuttgart: Hatje, pp. 62–65.
- Assemblée Nationale, 1989, 1789 L'Assemblée Nationale. Exposition organisée au Palais Bourbon à l'occasion du Bicentenaire de la Revolution et de l'Assemblée Nationale, Paris: l'Assemblée Nationale.
- Assmann, Jan, 2002, *Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa*, Frankfurt/Main: Fischer.
- Baecque, Antoine de, 1988, *La Caricature révolutionnaire*, Paris: Presses du CNRS.
- Baecque, Antoine de, 1994, «The Allegorical Image of France, 1750–1800: A Political Crisis of Representation», *Representations* 47: 111–143.
- Baecque, Antoine de, 1997, *The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary France, 1770–1800*, Stanford, CA: Stanford University Press.
- Bagliani, Agostino Paravicini, 1997, *Der Leib des Papstes. Eine Theologie der Hinfälligkeit*, Munich: C. H. Beck.
- Baker, Keith Michael, 1990, *Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Baker, Keith Michael, 1992: «Defining the Public Sphere in Eighteenth-Century France: Variations on a Theme by Habermas», in Craig Calhoun (ed.), *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 181–211.
- Baldick, Chris, 1990, In *Frankenstein's Shadow: Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century Writing*, Oxford: Oxford University Press.
- Baraille, Georges, 1997, «The Psychological Structure of Fascism», in Fred Botting and Scott Wilson (eds), *The Bataille Reader*, Oxford: Blackwell.
- Ben-Amos, Avner, 2000, *Funerals, Politics, and Memory in Modern France, 1789–1996*, Oxford: Oxford University Press.

- Benjamin, Walter, 1968, «The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction», in *Illuminations*, New York: Schocken Books.
- Bertozzi, Marco, 1983, «Thomas Hobbes — L'enigma del Leviatano», *Pugillaria* 3: 3–47.
- Beyme, Klaus von, 1970, Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, Munich: Piper.
- Beyme, Klaus von, 1992, «Parlament, Demokratie und Öffentlichkeit. Die Visualisierung demokratischer Grundprinzipien im Parlamentsbau», in Ingeborg Flagge and Wolfgang Jean Stock (eds), *Architektur und Demokratie. Bauen für die Politik von der amerikanischen Revolution bis zur Gegenwart*, Stuttgart: Hatje, pp. 33–45.
- Beyme, Klaus von, 1996, «Politische Ikonologie der Architektur», in Hermann Hipp and Ernst Seidl (eds), *Architektur als politische Kultur*, Berlin: Dietrich Reimer, pp. 19–34.
- Biefang, Andreas, 2002, Bismarcks Reichstag. Das Parlament in der Leipziger Straße, Dusseldorf: Droste.
- Bloch, Marc, 1973, The Royal Touch: Sacred Monarchy and Scrofula in England and France, London: Routledge & Kegan Paul.
- Blumenberg, Hans, 1985, *The Legitimacy of the Modern Age*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Boas, George, 1969, *Vox Populi: Essays in the History of an idea*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Bobbio, Norberto, 1996, Left and Right: The Significance of a Political Distinction, Cambridge: Polity.
- Böckenförde, Ernst-Wolfgang, 1987, «§30 Demokratische Willensbildung und Repräsentation», in Paul Kirchhof and Josef Isensee (eds), *Handbuch des Staatsrechts*, vol. 2, Heidelberg: Müller, pp. 29–48.
- Böhme, Hartmut, 2006, Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne, Hamburg: Rowohlt.
- Boni, Federico, 2002, Il corpo mediale del leader: Rituali del potere e sacralità del corpo nell'epoca della comunicazione globale, Rome: Meltemi.
- Boureau, Alain, 2001, «Vox Populi, Vox Dei», in Pascal Perrineau and Dominique Reynié (eds), *Dictionnaire du vote*, Paris: Presses universitaires de France.
- Boyer, Ferdinand, 1933, «Projets des salles pour les assemblées révolutionnaires», in *Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français*, pp. 170–183.
- Boyer, Ferdinand, 1935, «Les Tuileries sous la Convention & Les Tuileries sous le Directoire», in *Bulletin de la Société de l'art français* (Séance du 9 novembre 1934): 197–241, 242–263.

- Boyer, Ferdinand, 1952, «Les Salles d'assemblées sous la Révolution française et leurs répliques en Europe», in *Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français*: 88–93.
- Brandt, Reinhard, 1987, «Das Titelbild des Leviathan», *Leviathan* 15: 163–186.
- Brasart, Patrick, 1988, *Paroles de la Révolution. Les Assemblées parlementaires 1789–1794*, Paris: Minerve.
- Bredenkamp, Horst, 1998, «Politische Zeit. Die zwei Körper von Thomas Hobbes' Leviathan», in Wolfgang Ernst und Cornelia Vismann (eds), *Geschichtskörper: Zur Aktualität von Ernst H. Kantorowicz*, Munich: Fink, pp. 105–118.
- Bredenkamp, Horst, 1999, *Thomas Hobbes' visuelle Strategien. Der Leviathan: Urbild des modernen Staates*, Berlin: Akademie Verlag.
- Bredenkamp, Horst, 2001, «Ikonographie des Staates: Der Leviathan und seine neuesten Folgen», *Leviathan* 29: 19–35.
- Bredenkamp, Horst, 2003, *Thomas Hobbes: Der Leviathan: Das Urbild des modernen Staates und seine Gegenbilder 1651–2001*, Berlin: Akademie Verlag.
- Bredin, Jean-Denis, 1988, *Sieyès. La clé de la Révolution française*, Paris: Éditions de Fallois.
- Brette, Armand, 1902, *Histoire des édifice où ont siégé les Assemblées parlementaires de la Révolution française et de la première république*, Paris: Imprimerie Nationale.
- Burke, Edmund, 1884, «Three Letters on the Proposals for Peace», in *The Works of Edmund Burke*, 9 vols, London: George Bell, vol. 5.
- Burke, Edmund, 1955 [1790], *Reflections on the French Revolution*, New York: Liberal Arts Press.
- Burke, Peter, 1993, *The Fabrication of Louis XIV*, New Haven/London: Yale University Press.
- Butzer, Hermann, 1991, *Immunität im demokratischen Rechtsstaat. Verfassungsgrundlagen und Parlamentspraxis des Deutschen Bundestages*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Campion, Gilbert, 1950, *An Introduction to the Procedure of the House of Commons*, London: Macmillan.
- Canetti, Elias, 1984, *Crowds and Power*, London: Peregrine Books.
- Canovan, Margaret, 2005, *The People*, Cambridge: Polity.
- Canovan, Margaret, 2006, «The People», in John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne Phillips (eds), *The Oxford Handbook of Political Philosophy*, New York: Oxford University Press.
- Cassirer, Ernst, 2007, *The Myth of the State*, Hamburg: Felix Meiner.
- Castaldo, André, 1989, *Les méthodes de travail de la Constituante*, Paris: Presses universitaires de France.



## БИБЛИОГРАФИЯ

- Castelnuovo, Enrico, 1981, «Arti e rivoluzione. Ideologie e politiche artistiche nella Francia rivoluzionaria», *Ricerche di storia dell'Arte*, pp. 5–20.
- Charim, Isolde, 2006, «Wohin mit dem Despoten?», *Die Tageszeitung* (10 November): p. 16.
- Chartier, Roger, 1991, *The Cultural Origins of the French Revolution*, Durham, NC: Duke University Press.
- Chwe, Michael Suk-Young, 2001, *Rational Ritual. Culture, Coordination, and Common Knowledge*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Cowans, Jon, 2001, *To Speak for the People: Public Opinion and the Problem of Legitimacy in the French Revolution*, London: Routledge.
- Crook, Malcolm, 2002, *Elections in the French Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cullen, Michael S., 1983, *Der Reichstag: Die Geschichte eines Monuments*, Berlin: Frölich und Kaufmann.
- Cullen, Michael S., 1989, «Parlamentsbauten zwischen Zweckmäßigkeit, Repräsentationsanspruch und Denkmalpflege», in Hans-Peter Schneider and Wolfgang Zeh (eds), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland*, Berlin/New York: de Gruyter, pp. 1845–1889.
- Cullen, Michael S., 1995, *Der Reichstag: Parlament, Denkmal, Symbol*, Berlin: Bebra.
- Cullen, Michael S., and Uwe Kieling, 1992, *Der Deutsche Reichstag: Geschichte eines Parlaments*, Berlin: Argon.
- De Francesco, Antonino, 1992, *Il Governo senza testa*, Naples: Morano.
- De Mazza, Ethel Matala, 2003, «Die Unsumme der Teile. Körperschaft, Recht und Unberechenbarkeit», in Uwe Hebekus, Ethel Matala de Mazza and Albrecht Koshcorke (eds), *Das Politische. Figurenlehren des sozialen Körpers nach der Romantik*, Munich: Wilhelm Fink, pp. 171–191.
- Denk, Andres, and Josef Matzerath, 2000, *Die Drei Dresdner Parlamente. Die Sächsischen Landtage und ihre Bauten: Indikatoren für die Entwicklung von der ständischen zur pluralisierten Gesellschaft*, Wolfratshausen: Edition Minerva.
- Döring, Herbert, 1995a, «Die Sitzordnung der Abgeordneten: Ausdruck kulturell divergierender Auffassungen von Demokratie?», in Andreas Dörner and Ludgera Vogt (eds), *Sprache des Parlaments und Semiotik der Demokratie*, Berlin/New York: de Gruyter, pp. 278–289.
- Döring, Herbert, 1995b, «Time as a Scarce Resource: Government Control of the Agenda», in Herbert Döring (ed.), *Parliaments*

- and Majority Rule in Western Europe*, Frankfurt/New York: Campus/St Martin's Press, pp. 223–247.
- Dörner, Andreas, 2001, «Parlament, politische Kultur und symbolische Form: Zur Semantik des Deutschen Bundestags im Berliner Reichstag»: in Heinrich Oberreuter, Uwe Kranenpohl and Martin Sebaldt (eds), *Der Deutsche Bundestag im Wandel. Ergebnisse neuerer Parlamentarismusforschung*, Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 241–257.
- Dülmen, Richard van, 1990, *Theatre of Horror: Crime and Punishment in Early Modern Germany*, Cambridge: Polity.
- Dunn, Susan, 1994, *The Deaths of Louis XVI*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Duso, Giuseppe, 2003, «Repräsentative Demokratie. Entstehung, Logik und Aporien ihrer Grundbegriffe», in Karl Schmitt (ed.), *Herausforderungen der repräsentativen Demokratie*, Baden-Baden: Nomos, pp. 11–36.
- Duso, Giuseppe, 2006, *Die moderne politische Repräsentation: Entstehung und Krise eines Begriffs*.
- Edgerton, Samuel Youngs, 1985, *Pictures and Punishment: Art and Criminal Prosecution during the Florentine Renaissance*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Falkenhausen, Susanne von, 1993, «Vom „Ballhauschwur“ zum „Duce“. Visuelle Repräsentation von Volkssouveränität zwischen Demokratie und Autokratie», *Die Neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte* 40: 1017–1025.
- Flagge, Ingeborg (ed.), 1992, *Architektur und Demokratie*, Stuttgart: Gerd Hatje.
- Foucault, Michel, 1977, *Discipline and Punish*, London: Allen Lane.
- Foucault, Michel, 1978, «Pouvoir et corps», in *Quel corps*, Paris: Maspero.
- Foucault, Michel, 1980, «Body/Power», in *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, New York: Pantheon, pp. 55–62.
- Fraenkel, Ernst, 1991, *Deutschland und die westlichen Demokratien*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Freud, Sigmund, 1999 [1913], *Totem and Taboo*, London: Routledge.
- Friedland, Paul, 2002, *Political Actors: Representative Bodies and Theatricality in the Age of the French Revolution*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gablentz, Otto Heinrich von der, 1965, *Einführung in die Politische Wissenschaft*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Gardey, Delphine, 2005, «Turning Public Discourse into an Authentic Artefact: Shorthand Transcription in the French National

- Assembly»: in Bruno Latour and Peter Weibel (eds), *Making Things Public*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 836–843.
- Garrigues, Jean (ed.), 2007, *Histoire du Parlement de 1789 à nos jours*, Paris: Assemblée nationale.
- Gauchet, Marcel, 1995, *La Révolution des Pouvoirs. La Souveraineté, le Peuple et la Représentation, 1779–1799*, Paris: Gallimard.
- Gay, Oonagh and Chris Randall, 2001, *Parliamentary Election Timetables*, London: Parliament and Constitution Centre, House of Commons Library.
- Geertz, Clifford, 1985, «Centers, Kings, and Charisma», in Stephen Wolinetz (ed.), *Rite of Power*, Philadelphia, PA: University of Philadelphia Press, pp. 121–146.
- Giesey, Ralph E., 1960, *The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France*, Geneva: E. Droz.
- Goldhammer, Jesse, 2005, *The Headless Republic. Sacrificial Violence in Modern French Thought*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Goodsell, Charles T., 1988, «The Architecture of Parliaments: Legislative Houses and Political Culture», *British Journal of Political Science* 18: 287–302.
- Gorski, Philip S., 1993, «The Protestant Ethic Revisited: Disciplinary Revolution and State Formation in Holland and Prussia», *American Journal of Sociology* 99: 265–316.
- Grasskamp, Walter, 1992, *Die unästhetische Demokratie. Kunst in der Marktgesellschaft*, Munich: Fink.
- Greenblatt, Stephen, 1986, «Towards a New Poetics», in H. Aram Veeseer (ed.), *The New Historicism*, London: Routledge.
- Greenblatt, Stephen, 2004, *Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare*, London: Jonathan Cape.
- Groebner, Valentin, 2004, *Defaced: The Visual Culture of Violence in the Late Middle Ages*, London: MIT Press.
- Gueniffey, Patrick, 1993, *Le Nombre de la Raison*, Paris: Presses universitaires de France.
- Habermas, Jürgen, 1989 [1962], *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge: Polity.
- Habermas, Jürgen, 1992a, «Further Reflections on the Public Sphere», in *Habermas and the Public Sphere*, ed. Craig Calhoun, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 421–461.
- Habermas, Jürgen, 1992b, *Post-Metaphysical Thinking*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, Jürgen, 1996, *Between Facts and Norms*, Cambridge: Polity.
- Habermas, Jürgen, 2006, «Symbolic Expression and Ritual Behaviour: Ernst Cassirer and Arnold Gehlen Revisited», in *Times of Transition*, Cambridge: Polity.

- Hahn, Alois, 1993, «Identität und Nation in Europa», *Berliner Journal für Soziologie* 3: 193–203.
- Hanson, Laurence, 1967 [1936], *Government and the Press, 1695–1763*, Oxford: Clarendon Press.
- Hart, Jenifer, 2001 [1992], *Proportional Representation: Critics of the British Electoral System 1820–1945*, Oxford: Oxford University Press.
- Hatschek, Julius, 1905, *Englishces Staatsrecht*, vol. 1, *Die Verfassung*, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Heurtin, Jean-Philippe, 1999, *L'espace public parlementaire: Essai sur les raisons du législateur*, Paris: Presses universitaires de France.
- Heurtin, Jean-Philippe, 2005, «The Circle of Discussion and the Semicircle of Criticism», in Bruno Latour and Peter Weibel (eds), *Making Things Public*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 754–769.
- Hipp, Hermann, and Ernst Seidl (eds), 1996, *Architektur als politische Kultur*, Berlin: Dietrich Reimer.
- Hobbes, Thomas, 1968 [1651], *Leviathan*, Harmondsworth: Penguin.
- Hobbes, Thomas, 1990 [1682], *Begemoth or the Long Parliament*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Hoffmann, Hasso, 1998, *Repräsentation. Studien zur Wort-und-Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Hoffmann, Hasso, and Horst Dreier, 1987, «§5 Repräsentation, Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz», in Hans-Peter Schneider and Wolfgang Zeh (eds), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis*, Berlin: De Gruyter, pp. 165–197.
- Holmes, Stephen, 1990, «Introduction», in Thomas Hobbes, *Behemoth or the Long Parliament*, Chicago IL: University of Chicago Press, pp. 7–50.
- Horkheimer, Max, and Theodor Adorno, 2002, *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*, trans. Edmund Jephcott, Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- House of Commons Information Office, 2003, *Broadcasting Proceedings of the House*, London: House of Commons.
- Hunt, Lynn, 1984, «The Many Bodies of Marie Antoinette. Political Pornography and the Problem of the Feminine in the French Revolution», in idem (ed.), *Eroticism and the Body Politic*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, pp. 108–130.
- Hunt, Lynn, 1992, *The Family Romance of the French Revolution*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Hunt, Lynn, 1998, «Freedom of Dress in Revolutionary France», in Sara E. Melzer and Katharyn Norberg (eds), *From the Royal to the Republican Body: Incorporating the Political in Seventeenth and*

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Eighteenth Century France*, Berkeley, CA: University of California Press, pp. 224–249.
- Interparliamentary Union (IPU), 1976, *Parliaments of the World*, 1st edn, Dartmouth: Interparliamentary Union.
- Jacquès, Annie, and Jean-Pierre Mouilleseaux, 1988, *Les architectes de la liberté*, Paris: Gallimard-Jeunesse.
- Jekewitz, Jürgen, 1977, «Der Grundsatz der Diskontinuität der Parlamentsarbeit im Staatsrecht der Neuzeit und seine Bedeutung unter der parlamentarischen Demokratie des Grundgesetzes», in *Schriften zum Öffentlichen Recht*, vol. 321, Berlin: Duncker & Humblot.
- Julliard, Jacques, 1996, «Le Peuple», in Pierre Nora (ed.), *Les Lieux de Mémoire*, Paris: Gallimard, pp. 185–229.
- Kantorowicz, Ernst H., 1957 [1998], *The King's Two Bodies*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kemp, Wolfgang, 1973, «Das Bild der Menge (1789/1830)», in *Städte Jahrbuch*, N.F. IV: 249–270.
- Kertzer, David I., 2003, «Ritual, Politik und Macht», in Andrea Belliger and David J. Krieger (eds), *Ritualtheorien*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Kielmansegg, Peter, 1977, *Volkssouveränität. Bedingungen demokratischer Legitimität*, Stuttgart: Klett Verlag.
- Kissler, Leo, 1989, «§36 Parlamentsöffentlichkeit: Transparenz und Artikulation», in Hans-Peter Schneider and Wolfgang Zeh (eds), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis*, Berlin: De Gruyter, pp. 993–1020.
- Klein, Hans-Hugo, 1989, «§17 Indemnität und Immunität», in Hans-Peter Schneider and Wolfgang Zeh (eds), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis*, Berlin: De Gruyter, pp. 555–592.
- Klinger, Cornelia, 2002, «Corpus Christi, Lenins Leiche und der Geist des Novalis, oder: Die Sichtbarkeit des Staates. Über ästhetische Repräsentationsprobleme demokratischer Gesellschaften», in Hans Belting, Dietmar Kamper and Martin Schulz (eds), *Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation*, Munich: Fink, pp. 219–232.
- Kluxen, Kurt, 1963, «Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des englischen Parlamentarismus», *Politische Vierteljahresschrift* 4: 2–17.
- Kluxen, Kurt, 1983, *Geschichte und Problematik des Parlamentarismus*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Koschorke, Albrecht, Susanne Lüdemann, Thomas Frank and Ethel Matala de Mazza, 2007, *Der fiktive Staat: Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas*, Frankfurt/Main: Fischer.

- Koselleck, Reinhart, 1972, «Einleitung», in Otto Brunner, Werner Conze and Reinhart Koselleck (eds), *Geschichtliche Grundbegriffe*, Stuttgart: Klett-Cotta, pp. xiii-xxvii.
- Koselleck, Reinhart, 2006, *Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache*, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Kündiger, Barbara, 2000, *Fassaden der Macht: Architektur der Herrschenden*, Leipzig.
- Landes, Joan B., 2001, *Visualizing the Nation: Gender, Representation and Revolution in Eighteenth-century France*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Landes, Joan B., 2004, «Revolutionary Anatomies», in Laura Lungner Knoppers and Joan B. Landes (eds), *Monstrous Bodies/Political Monstrosities in Early Modern Europe*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Laponce, J.A., 1981, «The Introduction and Diffusion of the Terms Left and Right into the Language of Politics», in *Left and Right: The Topography of Political Perceptions*, Toronto: University of Toronto Press, pp. 47-68.
- Lefort, Claude, 1986, «The Image of the Body and Totalitarianism», in *The Political Forms of Modern Society*, Cambridge: Polity, pp. 292-306.
- Lefort, Claude, 1988, «The Question of Democracy», in *Democracy and Political Theory*, Cambridge: Polity, pp. 9-20.
- Lefort, Claude, and Marcel Gauchet, 1971, «Sur la démocratie: Le politique et l'institution du social», *Textures* 2 (3): 7-78.
- Leibholz, Gerhard, 1966, *Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert*, Berlin: de Gruyter.
- Leith, James A., 1991, *Space and Revolution: Projects for Monuments, Squares, and Public Building in France 1789-1799*, Montreal/London/Buffalo: McGill-Queen's University Press.
- Linz, Juan, 1998, «Democracy's Time Constraints», *International Political Science Review* 19: 19-38.
- Loewenstein, Karl, 1923, «Zur Sociologie der parlamentarischen Repräsentation in England vor der Reformbill», in *Erinnerungsgabe für Max Weber*, vol. 2, Munich/Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 85-110.
- Loewenstein, Karl, 1964 [1922], *Volk und Parlament nach der Staatstheorie der Französischen Nationalversammlung von 1789*, Aalen: Scienta.
- Loewenstein, Karl, 1967, *Staatsrecht und Staatspraxis von Grossbritannien*, vol. 1, *Parlament — Regierung — Parteien*, Berlin/Heidelberg/New York: Springer.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Luzzatto, Sergio, 2005, *The Body of Il Duce*, New York: Metropolitan Books.
- McLaren Carstairs, Andrew, 1980, *A Short History of Electoral Systems in Western Europe*, London: George Allen & Unwin.
- Madison, James, Alexander Hamilton and John Jay, 1987 [1788], *The Federalist Papers*, London: Penguin.
- Malcolm, Noel, 2002, «The Title Page of Leviathan, Seen in a Curious Perspective», in idem, *Aspects of Hobbes*, Oxford: Clarendon Press.
- Manin, Bernard, 1997, *The Principles of Representative Government*, New York: Cambridge University Press.
- Manow, Philip, 2004, «Der demokratische Leviathan — eine kurze Geschichte parlamentarischer Sitzanordnungen seit der Französischen Revolution», *Leviathan*: 319–347.
- May, Thomas Erskine, 1957, *The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament* (16th edn, edited by Edward Fellowes, T.G.B. Cocks and Gilbert Campion), London: Butterworths.
- Mayer, Arno J., 2000, *The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Melton, James van Horn, 2001, *The Rise of the Public in Enlightenment Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Melzer, Sara E., and Katharyn Norberg (eds), 1998, *From the Royal to the Republican Body: Incorporating the Political in Seventeenth and Eighteenth-Century France*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Mergel, Thomas, 2002, *Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik*, Düsseldorf: Droste.
- Meyrowitz, Joshua, 1985, *No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior*, New York: Oxford University Press.
- Michels, Robert, 1987, *Masse, Führer, Intellektuelle. Politisch-soziologische Aufsätze 1906–1933*, Frankfurt/Main: Campus.
- Mill, John Stuart, 1958, *Considerations on Representative Government*, Indianapolis/New York: Bobbs-Merrill.
- Mopin, Michel, 1998, *L'Assemblée nationale et le Palais-Bourbon d'hier à aujourd'hui*, Paris: Assemblée nationale.
- Morgan, Edmund S., 1988, *Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America*, New York/London: W. W. Norton & Co.
- Müller, Marion G., 2003, *Politische Liturgie der Parlamente. Zeremonialstrukturen im Vergleich: Britisches Parlament, US-Kongress, Deutscher Bundestag, Assemblée Nationale und Europäisches Parlament*, Hamburg: Habilitation, University of Hamburg.

- Münkler, Herfried, 1994, *Politische Bilder, Politik der Metaphern*, Frankfurt/Main: Fischer.
- Myers, A.R., 1975, *Parliaments and Estates in Europe to 1789*, London: Thames and Hudson.
- Norton, Paul F., 1984 [1955], «Latrobe-Klassizismus. Der klassische Stil des amerikanischen Kapitols in seiner Ausprägung durch Latrobe und Jefferson», in Martin Warnke (ed.), *Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute. Repräsentation und Gemeinschaft* [first published in *Actes du XVIIIème Congrès International d'Histoire de L'Art*, The Hague, pp. 507–519], Cologne: Dumont, pp. 336–352.
- Outram, Dorinda, 1989, *The Body and the French Revolution: Sex, Class and Political Culture*, New Haven, CT: Yale University Press.
- Ozouf, Mona, 1988, *Festivals and the French Revolution*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pacelli, Mario, 1983, *Le Radici di Montecitorio: Piete, uomini, miti*, Rome: Edizioni delle Autonomie.
- Patzelt, Werner, 2001, *Parlamente und ihre Symbolik*, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Paulmann, Johannes, 2000, *Pomp und Politik: Monarchenbegegnungen in Europa zwischen Ancien Régime und Erstem Weltkrieg*, Paderborn: Schöningh.
- Pilbeam, Pamela, 2003, *Madame Tussaud and the History of Waxworks*, London/New York: Hambledon and London.
- Pinder, Wilhelm, 1928, *Das Problem der Generation in der Kunstgeschichtliche Europas*, Berlin: Frankfurter Verlagsanstalt.
- Pitkin, Hanna Fenichel, 1967, *The Concept of Representation*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Port, Michael H., 1976, *The Houses of Parliament*, New Haven, CT/London: Yale University Press.
- Rader, Olaf B., 2003, *Grab und Herrschaft: Politischer Totenkult von Alexander dem Großen bis Lenin*, Munich: C. H. Beck.
- Raynaud, Philippe, 2001, «Souveraineté Populaire», in Pascal Perrineau and Dominique Reynié (eds), *Dictionnaire du vote*, Paris: Presses universitaires de France.
- Redlich, Josef, 1905, *Recht und Technik des Englischen Parlamentarismus: Die Geschäftsordnung des House of Commons in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Gestalt*, Leipzig: Duncker & Humblot.
- Reiche, Jürgen, 1988, *Das Berliner Reichstagsgebäude: Dokumentation und ikonographische Untersuchung einer politischen Architektur*, diss., Berlin: Free University.



## БИБЛИОГРАФИЯ

- Rioux, Jean-Pierre, 1986, «Le Palais-Bourbon. De Gambetta à de Gaulle», in Pierre Nora (ed.), *Les Lieux de Mémoire*, vol. 2, *La Nation*, Paris: Gallimard, pp. 487–516.
- Rogin, Michael Paul, 1987, *Ronald Reagan, the Movie — and Other Episodes in Political Demonology*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Rolf, Malte, 2006, «Die Feste der Macht und die Macht der Feste. Fest und Diktatur — zur Einleitung», *Journal of Modern European History* 4 (1): 39–59.
- Rosanvallon, Pierre, 1992, *Le Sacre du Citoyen: Histoire du suffrage universel en France*, Paris: Gallimard.
- Rosanvallon, Pierre, 1998, *Le Peuple introuvable: Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris: Gallimard.
- Rosanvallon, Pierre, 2000, *La démocratie inachevée: Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris: Gallimard.
- Rosanvallon, Pierre, 2006, *Democracy Past and Future*, New York: Columbia University Press.
- Schmitt, Carl, 1985a [1934], *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Schmitt, Carl, 1985b [1926, 2nd edn], *The Crisis of Parliamentary Democracy*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Schmitt, Carl, 1989 [1928], *Verfassungslehre*, 7th edn, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt, Carl, 2008, *Constitutional Theory*, Durham/London: Duke University Press.
- Schmitt, Eberhard, 1969, *Repräsentation und Revolution: Eine Untersuchung zur Genesis der kontinentalen Theorie und Praxis parlamentarischer Repräsentation aus der Herrschaftspraxis des Ancien régime in Frankreich (1760–1789)*, Munich: Beck.
- Schmitt, Eberhard, 1971, «Representatio in toto und representatio singulariter. Zur Frage nach dem Zusammenbruch des französischen Ancien régime und der Durchsetzung moderner parlamentarischer Theorie und Praxis im Jahr 1789», *Historische Zeitschrift*, vol. 213, pp. 529–576.
- Schwarte, Ludger, 2005, «Parliamentary Public», in Bruno Latour and Peter Weibel (eds), *Making Things Public. Atmospheres of Democracy*, Cambridge MA: MIT Press, pp. 786–794.
- Sennett, Richard, 1994, *Flesh and Stone: The Body in Western Civilization*, London: Faber and Faber.
- Sennett, Richard, 1998, *Spaces of Democracy: The 1998 Raoul Wallenberg Lecture*, Michigan, MI: University of Michigan Press.
- Sieyès, Emmanuel Joseph, 2003a [1789], «Views of the Executive Means Available to the Representatives of France in 1789»,

- in Michael Sonenscher (ed.), *Political Writings*, Indianapolis, IN: Hackett.
- Sieyès, Emmanuel Joseph, 2003b [1789], «What is the Third Estate?», in Michael Sonenscher (ed.), *Political Writings*, Indianapolis, IN: Hackett.
- Skinner, Quentin, 1978, *The Foundations of Modern Political Thought*, vol. 2, *The Age of Reformation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Skinner, Quentin, 2005, «Hobbes on Representation», *European Journal of Philosophy* 13 (2): 155–184.
- Smith, Alastair, 2004, *Election Timing*, New York: Cambridge University Press.
- Soulier, Gérard, 1966, *L'Inviolabilité parlementaire en droit français*, Paris: Pichon/Durand-Auzias.
- Stafford, Barbara Maria, 1991, *Body Criticism: Imaging the Unseen in Enlightenment Art and Medicine*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Stamp, Gavin, 2000, «"We shape our buildings and afterwards our buildings shape us": Sir Giles Gilbert Scott and the Rebuilding of the House of Commons», in Christine Riding et al. (eds), *The Houses of Parliament: History, Art, Architecture*, London: Merrell, pp. 149–161.
- Starobinsky, Jean, 1995, «La Chaire, la Tribune, le Barreau», in Pierre Nora (ed.), *Les Lieux de Mémoire*, Paris: Gallimard, pp. 425–485.
- Sternberger, Dolf, 1967, «Der Begriff der Repräsentation im Streit zwischen Burke und Paine», *Politische Vierteljahresschrift* 8 (4), pp. 526–543.
- Sterrenburg, Lee, 1979, «Mary Shelley's Monster: Politics and Psyche in Frankenstein», in George Levine and U. C. Knoepfelmacher (eds), *The Endurance of «Frankenstein»: Essays on Mary Shelley's Novel*, Berkeley, CA: University of California Press, pp. 143–171.
- Stollberg-Rilinger, Barbara (ed.), 2005, «Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?», *Zeitschrift für Historische Forschung*, special issue 35, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 71–96.
- Taubes, Jacob, 1983, «Statt einer Einleitung: Leviathan als sterblicher Gott», in idem (ed.), *Der Fürst dieser Welt: Carl Schmitt und die Folgen*, vol. 1 of *Religionstheorie und Politische Theologie*, Munich/Paderborn: Verlag Wilhelm Fink/Ferdinand Schöningh.
- Thomas, Frank, Albrecht Koschorke and Susanne Lüdemann, 2002, *Des Kaisers neue Kleider: Über das Imaginäre politischer Herrschaft; Texte, Bilder, Lektüren*, Frankfurt/Main: Fischer.
- Traeger, Jörg, 1986, *Der Tod des Marat: Revolution des Menschenbildes*, Munich: Prestel.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Truesdell, Matthew, 1997, *Spectacular Politics: Louis Bonaparte and the Fête Impériale, 1849–1870*, Oxford: Oxford University Press.
- Turner, Victor Witter, 1969, *The Ritual Process: Structure and Anti-structure*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Vorländer, Hans, 2003, «Demokratie und Ästhetik. Zur Rehabilitation eines problematischen Zusammenhangs», in idem (ed.), *Zur Ästhetik der Demokratie. Formen der politischen Selbstdarstellung*, Stuttgart: DVA, pp. 11–26.
- Walzer, Michael, 1967, «On the Role of Symbolism in Political Thought», *Political Science Quarterly* 82 (2) (June 1967): 191–204.
- Walzer, Michael, 1974, *Regicide and Revolution: Speeches at the Trial of Louis XVI*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, Max, 1968, *Economy and Society*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Wefing, Heinrich, 1995, *Parlamentsarchitektur. Zur Selbstdarstellung der Demokratie in ihren Bauwerken. Eine Untersuchung am Beispiel des Bonner Bundeshauses*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Wefing, Heinrich (ed.), 1999, «Dem Deutschen Volke»: *Der Bundestag im Berliner Reichstagsgebäude*, Bonn: Bouvier.
- Weng, Gerhard, 1986, «Die Würde des Hauses», *Zeitschrift für Parlamentsfragen*, vol. 17, pp. 248–262.
- White, Hayden, 1978, *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Wirsching, Andreas, 1990, *Parlament und Volkes Stimme. Unterhaus und Öffentlichkeit im England des frühen 19. Jahrhunderts*, Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.
- Wolf, Christoph, 2005, *Die Sorge des Souveräns: Eine Diskursgeschichte des Opfers*, Berlin: Diaphanes.

Филип Манов  
В ТЕНИ КОРОЛЕЙ  
Политическая анатомия  
демократического представительства

Главный редактор издательства Валерий Анашвили  
Научный редактор издательства Артем Смирнов  
Выпускающий редактор Елена Попова  
Редактор Елизавета Ноткина  
Художник серии Валерий Коршунов  
Верстка Сергея Зиновьева

Издательство Института Гайдара  
125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1



Подписано в печать 28.07.14.  
Тираж 1000 экз. Формат 84×108/32. заказ 4143  
Отпечатано способом ролевой струйной печати  
в ОАО «Первая Образцовая типография»  
Филиал «Чеховский Печатный Двор»  
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1  
Сайт: [www.chpd.ru](http://www.chpd.ru), E-mail: [sales@chpd.ru](mailto:sales@chpd.ru), т/ф. 8(496)726-54-10